
Перехвачу ли я тебя?
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
Оника Мор
18+

Оника Мор
Перехвачу ли я тебя?

https://litres.ru/74982127
SelfPub; 2026

Аннотация

Они обещали никогда не терять друг друга. Но некоторые обещания оказываются тяжелее, чем детские сердца способны выдержать.

Лидия Уолтер слишком рано научилась молчать, прятать боль за улыбкой и выбирать чужую безопасность вместо собственного счастья. Честер Фриман слишком долго верил, что любовь способна удержать всё на своих местах.

Между ними — годы недосказанности, тайны, которые опасно произносить вслух, и прошлое, от которого невозможно убежать.

Но что произойдёт, когда правда выйдет наружу, а цена свободы окажется выше, чем они готовы заплатить?

Можно ли отыскать друг друга снова, если однажды вы потеряли не только друг друга, но и самих себя?

И главное — успеет ли он перехватить её, прежде чем станет слишком поздно?

Оника Мор
Перехвачу ли я тебя?

СЕРИЯ: "Зеркала прошлого"
© 2026 Оника Мор

Все права защищены.

Данное произведение является объектом авторского права. Все персонажи, события, диалоги и текст произведения принадлежат автору, за исключением отдельно отмеченных материалов третьих лиц.

Копирование, распространение, публикация и использование текста или его частей без разрешения автора не допускаются, кроме случаев, предусмотренных законом.

Публикация произведения на других ресурсах без согласия автора запрещена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АВТОРА!

Пожалуйста, ознакомьтесь перед прочтением.

Эта история затрагивает тяжёлые темы и содержит сцены, которые могут оказаться эмоционально сложными для некоторых читателей.

В произведении присутствуют:

— физическое насилие над детьми и жестокое обращение в семье;

— сексуализированное насилие над несовершеннолетним;

— сексуальное насилие над взрослым человеком и нарушение личных границ;

— принуждение, отсутствие согласия и последствия пережитого насилия;

— психологическое и эмоциональное насилие, унижения, угрозы и оскорбления;

— злоупотребление властью, манипуляции и контроль со стороны родителей;

— употребление алкоголя, алкоголизм и его последствия для семьи;

— тайное подмешивание психоактивных веществ и наркотическое опьянение;

— смерть близкого человека, утрата и переживание горя;

— последствия детской травмы, чувство вины, стыд, страх и эмоциональная подавленность;

— буллинг, травля, публичное унижение и жестокое отношение со стороны окружающих;

— физические травмы, кровотечения, медицинские вмешательства и операции;

— сложные отношения в семье, болезненные расставания

и эмоциональные конфликты;

— откровенные романтические и сексуальные сцены;

— ненормативная лексика.

Некоторые эпизоды содержат подробные описания насилия, травматичного опыта и его физических и психологических последствий.

Важно: тяжёлые темы включены в повествование не для романтизации, оправдания или обесценивания насилия. История показывает, как пережитый опыт влияет на людей, их отношения, доверие к окружающим и способность снова почувствовать себя в безопасности.

Пожалуйста, учитывайте собственное эмоциональное состояние во время чтения. Вы можете сделать паузу, пропустить отдельную сцену или отложить книгу, если почувствуете, что содержание становится для вас слишком тяжёлым. Вам не нужно дочитывать историю через дискомфорт.

Берегите себя. И спасибо, что позволяете этой истории стать частью вашей жизни.

С любовью и заботой,
Оника Мор

ПЛЕЙЛИСТ:

Savage Garden — Truly Madly Deeply
The Beatles — If I Needed Someone
The Beatles — Here Comes The Sun
Dolly Parton, Kenny Rogers — Islands In The Stream
Snow Patrol — Chasing Cars
Noah Kahan — Orbiter
Katy Perry — Thinking Of You
Ethel Cain — Strangers
The 1975 — Fallingforyou
The 1975 — Somebody Else
The Neighbourhood — A Little Death
Paloma Faith — Only Love Can Hurt Like This
ZAYN, Sia — Dusk Till Dawn
Tate McRae — Siren sounds
Tate McRae — You Broke Me First
Julia Wolf — In My Room
RAYE, 070 Shake — Escapism.
Taylor Swift — Wonderland
Wonderwall — Oasis
WALK THE MOON — Shut Up And Dance
Malcom Todd — Earrings
The Marias — Heavy
Bella Kay — iloveitiloveitiloveit
Bella Kay — Steady

Bella Kay — Promise?
Bella Kay — wonder wander
Miguel — damned
Ellie Goulding — Love Me Like You Do
Olivia Rodrigo — stupid song
Olivia Rodrigo — traitor
Olivia Rodrigo — the cure
Kings Of Leon — Use Somebody
BACCO — GALE
Sheltoh — RUN
Lvbel C5, Güneş — NKBİ X YAPAMAM Remix
The Fray — You Found Me
The Fray — Look After You
James Arthur — Impossible
ZOLOTO — Непроизошло
Dominic Fike — Babydoll
Tom Walker — Leave a Light On
PRETTYMUCH — Eyes Off You
NEMIGA, Дорогой Дневник — Весь этот мир
One Direction — They Don't Know About Us
Kat Dahlia — I Think I'm In Love
Шура Кузнецова — Молчи и обнимай меня крепче
Ex Habit — love me
Shawn Mendes — Treat You Better
Shawn Mendes — Mercy
Charlie Puth, Selena Gomez — We Don't Talk Anymore

SLANDER — Love Is Gone
COMEDOZ — Скандалы и споры
Sombr — Back To Friends
Taylor Swift — Dress
Taylor Swift — All Too Well
Taylor Swift — Midnight Rain
Mitski — How Deep Is Your Love
Zhanulka — мок
Jeff Buckley — Lover, You Shouldve Come Over
Twenty One Pilots — Drag Path
Tyler, The Creator — ARE WE STILL FRIENDS?
Tate McRae — that way
Katy Perry — Legendary Lovers
Halsey — Colors
Katy Perry — Unconditionally
Wiz Khalifa — See You Again
Ariana Grande — we cant be friends
Selena Gomez — The Heart Wants What It Wants
Ariana Grande — Love Me Harder
Taylor Swift — You Belong With Me
Martin Garrix, Bebe Rexha — In The Name Of Love
Gracie Abrams — Close To You
Gracie Abrams — I Love You, I'm Sorry
Gotlibgotlibgotlib, Sabu — Агентство насилия
Taylor Swift — Out Of The Woods
Taylor Swift — But Daddy I Love Him

Артем Пивоваров — Собирай меня
Gigi Perez — Sailor Song
Stromae — Formidable
Artic Monkeys — I Wanna Be Yours
Prince — Purple Rain
2WEI, Edda Hayes — Burn
Faouzia — UNETHICAL
Nilu — Are You With Me
MILKOVSKYI — Колыбельная
MILKOVSKYI — Смотри душой
Taylor Swift — Style
Sombr — We Never Dated
Taylor Swift — Enchanted
Seafret — Atlantis
Ed Sheeran — Photograph
Taylor Swift — Labyrinth
Taylor Swift — The Way I Loved You
Blood Orange — Champagne Coast
Taylor Swift — You Are In Love
The Police — Every Breath You Take
Ellie Goulding — Love Me Like You Do
Melanie Martinez — Pity Party
Melanie Martinez — Mrs. Potato Head
The Script — The Man Who Can't Be Moved
Imogen Heap — Headlock

Посвящается

Эту книгу я посвящаю каждому,
кто когда-либо чувствовал слишком много,
боялся потерять, не умел отпускать
и продолжал надеяться, даже когда надежда казалась глупостью.

Тем, кто хранит в себе маленькую версию себя,
всё ещё верящую в обещания, случайности
и людей, которые обязательно возвращаются.

Спасибо, что позволяете мне рассказывать такие истории.

НА СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ ПОЛЯ

Честер

9 марта 2012 года

Мартовский ветер дул прямо с дальних полей и нёс с собой запах скошенной травы и грязи, а двойной урок физкультуры в четверг означал, что тридцать мальчишек в манишках носятся по болоту, которое школа оптимистично называла полем.

У мистера Холси был один свисток и два настроения — оба громкие, — и он выбирал команды так же, как выбирал всё остальное: тыкал пальцем и орал. И по какому-то тихому закону вселенной, который никто из нас никогда не ста-

вил под сомнение, мы четверо снова оказались в одной команде. Я — сзади. Дэйвон — в центре: молчит, но управляет всем. Джейкоб — на фланге, жалуется на состояние поля в том же дыхании, которым обводит соперников. А Бэйтс — впереди, в манишке, словно в плаще, уже вспотевший, уже болтающий.

— Я задыхаюсь, — объявил Бэйтс через четыре минуты, держась за голову. — Честно задыхаюсь. У меня колет слева и колет справа, так что весь торс под угрозой, и я хочу, чтобы было зафиксировано: я просил замену и мне отказали.

— Ты никуда не бежал, — крикнул ему Джейкоб. — Пробежал трусцой два раза. Я считал.

— Трусца — это бег, Джейк, это в словаре написано, проверь.

Дэйвон пробежал мимо него, не сказав ни слова, на ходу протянул руку и легонько, точно, щёлкнул его по затылку — так, как поправляют овчарку. Потом продолжил бег, чистым движением отобрал мяч у Каллахана Нэша и отдал передачу через грязь, которая прокатила сорок ярдов и остановилась точно у ног Джейкоба.

Свисток Холси раздался без всякой видимой причины — как это часто бывало.

— Он меня ударил, — сказал Бэйтс воображаемому судье, указывая на удаляющуюся спину Дэйвона. — Нападение. При свидетелях.

— Это коучинг, — крикнул в ответ Джейкоб. — Дешевле

психолога.

— Ты же мой лучший друг, знаешь ли! — Бэйтс теперь нашёл меня. — Мой лучший друг! — визжал он через всю оборону, преданный, мокрый, сияющий от возмущения. — А ты стоишь и ржёшь!

— Ага, чувак, всё правда, — я поддел мяч из-под ног и отправил его мимо Финна Дойла, который, как всегда, слишком далеко ушёл внутрь. — Но шевели задницей, мы играем.

Это была вся речь, и речь была правильная, потому что Бэйтс помчался куда-то по известному только ему принципу, пробежал тридцать ярдов как одержимый и игра пошла дальше.

Два года суббот сделали с каждым из нас то, чего школьные объявления ещё не успели заметить.

Дэйвон стал широким и тихим — одни плечи и чувство тайминга. Джейкоб вытянулся и стал быстрым — одни локти и обиды. Бэйтс вырос и ввысь, и вширь одновременно и двигался, как жеребёнок на льду, одни конечности и надежда. А я снова вытянулся, ещё один скачок за зиму, сто восемьдесят три сантиметра, сказал доктор в феврале, а спринты и отборы наложили на эту раму что-то такое, от чего первоклассники сами расступались в коридорах, даже не понимая почему.

Где-то к Рождеству Холси перестал звать меня Фриманом и стал звать «*стеной*», а я делал вид, что не заметил, никому не говорил и думал об этом всю неделю.

Гол пришёл в середине урока и пришёл он слева, как всё хорошее у нас всегда.

Джейкоб принял мяч у бровки, когда на него насели двое, а я прошёл мимо него на подстраховке, не сбавляя шага, и он отдал мне пяткой так, что чуть не оторвал лодыжку: лучший пас за весь триместр. Одно касание, чтобы обработать, один взгляд вверх и вот Бэйтс в центре, показывает на небо обеими руками, будто ловит такси. Навес поднялся с грязи, и он бросил на него всё тело.

Удар головой прошёл от штанги. Маркус Лэйб нырнул на полную секунду позже, чем мяч уже лежал в сетке, а Бэйтс пробежал двадцать ярдов, празднуя, с майкой на лице и врезался в угловой флажок. Свисток Холси прозвучал на возобновление, пока тот ещё лежал на земле, просил у неба носилки и на всю громкость посвящал гол Каталине.

— Она даже не знает твоей фамилии, — напомнил ему Джейкоб, возвращаясь трусцой.

— Все она знает, а даже если нет, то любовь сама всё уладит.

— Любовь ничего не улаживает, Бэйтс, в этом-то вся проблема, — покачал головой Джей.

Трибуны стояли за дальними воротами и там были девчонки.

Они всегда выходили на последние двадцать минут двойной физкультуры, когда погода становилась такой. Всё население года на деревянных скамейках, в застёгнутых пиджа-

ках, с ветром в волосах. И я знал точное положение одной головы в этой толпе так же, как знал положение собственных рук.

Лидия сидела посередине, Оливия — с одной стороны. Колени подтянуты, подбородок на них. Она смотрела на футбол. Или смотрела на одну конкретную его часть. И думала, что я не вижу разницы. А я видел разницу с орбиты.

Мы снова были «нормальными». Это была официальная позиция, действовавшая уже семь месяцев и в основном она держалась. Мы шли в школу, спорили о музыке, сидели вместе за обедом и для любого разумного наблюдателя были ровно тем, чем были до бассейна в августе. Плейлисты замолчали. Никто их не выключал. Они просто стихли, как комната стихает, когда разговор заканчивается, не заканчиваясь.

А по ночам я лежал без сна и не мог вспомнить ни одной строчки песен, лежал, восстанавливая их все по памяти. Её рот. Четыре секунды. Шесть. Тот тихий звук. Свой номер телефона я бы забыл раньше.

Нормально, — подумал я, заслоняя глаза и находя её на трибунах, сам того не желая. — *Мы делаем "нормально". Я лучший в году по "нормально".*

Ветер сменился примерно за десять минут до конца и начал нести звуки с трибун на поле.

Он настиг меня на вбрасывании у самого угла, достаточно близко, чтобы голоса доходили через грязь сами, без всякого

усилия с моей стороны. Я стоял, держа мяч над головой, а разговор долетал кусками.

— …Дэйвон, конечно, самый красивый, но он за всю жизнь ни с одной девчонкой не разговаривал. Ни разу. Прия сказала ему одно слово в сентябре, он кивнул, и она до сих пор не оправилась…

— …Джейкоб со всеми спорит, представляешь его на вечеринке — будет с мамой пререкаться…

— …Бэйтс ржачный, но его никуда не возьмёшь — упадёт в пруд…

— …А Честер-то, — голос чуть упал, как голоса умеют. — Честер Фриман за зиму очень даже… Кто-нибудь вообще смотрел на него после Рождества? Потому что я смотрела и у меня есть заметки…

Я вбрасывал очень медленно.

— Все смотрели, — послышался другой голос, более сухой. — Пол-десятого класса смотрело. Проблема в том, что никто никуда не продвигается, потому что кто-то всегда уже там.

— Это ещё что значит?

— Это значит, — продолжил сухой голос, и я его узнал: это была Тина из её класса, — что Шарлотта Рейес получила от него “может быть” в октябре, а девчонка, которая приехала в январе, получила целое предложение. И это весь урожай, девочки. Он вежлив со всеми и недоступен ни для кого, никто не знает почему».

Тишина на трибунах — размышляющая. Мяч вернулся ко мне, я отдал его Джейкобу одним касанием, профессионально, мальчик, которому всё это совершенно безразлично, а ветер продолжал нести.

— Есть теория… — начал кто-то.

— Нет никакой теории, — ровно сказала Оливия, и в её голосе уже слышался редактор школьной газеты. — Нет теории, нет истории, и я буду поправлять любого, кто попытается напечатать то или другое.

— Я просто говорю: он каждый день идёт с ней домой, а она каждый четверг сидит здесь, и она смотрит не на матч, а на номер… — голос перешёл в хихиканье. — Какой у него номер? Какой номер у Честера?

И тогда заговорила Лидия, и трибуны затихли — как везде затихает, когда она решает заговорить.

— Одиннадцать, — сказала она спокойно, не отрывая взгляда от поля. — Он под одиннадцатым. И у него, вообще-то, есть девушка. Так что можете все расслабиться.

Мяч ударил меня по задней стороне ноги, и я выбил его в аут от чистого замешательства.

— Нет у него! — сказала Тина.

— Есть. Из его церкви. Очень серьёзная. Очень закрытая. Вы её никогда не встречали, потому что она никуда не ходит. — она убийственно пожала плечами. — Честно говоря, всем очень жалко. Звёзды не сошлись. Как в кино. Ладно, мы идём в магазин в половине четвёртого или нет? Потому

что я не собираюсь просто так подниматься в ту гору.

Последние десять минут того матча я играл как лунатик с отличным отбором. Дэйвон заметил и в какой-то момент просто материализовался рядом со мной сзади и тихо, не глядя, сказал:

— Слышал всё это, да.

— Что слышал?

Он кивнул сам себе и снова вышел из моей жизни — проблема оценена, действий не требуется.

Холси дал финальный свисток, небо начало плеваться дождём и поле опустело, как всегда, в панике. Я остался сзади, как всегда, собирая манишки в мешок, потому что Холси сделал меня капитаном по манишкам ещё в восьмом классе, и никакая сила на земле это не отменила. Поэтому я был последним у ограды, когда Тина и двое её подруг спустились с трибун и направились через морось — трое строем: одна смелая, две — якоря.

— Честер, привет. — Тина взяла на себя смелость. — Мы в субботу идём в город. В новое место, где молочные коктейли. Большая компания, много кто идёт. — моргнула она через капли, дождь чуть усилился, никому не помогая. — Я подумала… может, ты хочешь пойти. Со мной, в смысле.

Она была хорошей. Хочу, чтобы это где-то зафиксировали: хорошая девчонка с капюшоном против дождя, которая храбрится перед подругами. И никакой вариант ответа не стоил ей ничего. Поэтому я потратил его аккуратно — так,

как учила мама.

— Это очень мило с твоей стороны, — ответил я. — Но по субботам я не могу. Весь день тренировки, потом вечерами помогаю отцу. У нас дома это почти закон.

— А. Да. Тренировки. — она посмотрела на грязь на мне, прикинула, и подруги за её спиной заёрзали. — Может, в другой раз. — она была достаточно доброй или достаточно гордой, чтобы дать мне выход.

— Может, — сказал я, не вкладывая в это ничего, и она кивнула и увела свой строй обратно в гору.

Я стоял у ограды с мешком манишек и смотрел, как они уходят, и почувствовал, как прибывает другой взгляд — как смена света.

Она спустилась с трибун. Лидия стояла в шести футах выше по тропинке, воротник пиджака поднят, руки засунуты в карманы. Она наблюдала весь этот разговор — целиком — с тактической позиции с хорошим обзором, как ястреб, у которого где-то в этой истории есть гнездо. И оба мы это знали. И никто из нас не собирался это произносить вслух.

— Занятой мальчик, — выдавила наконец она.

— По субботам у меня система.

— Я слышала про систему. — она подошла к ограде, забрала у меня мешок с манишками и перекинула через своё плечо — мой мешок, без приглашения, так же, как таскала мои вещи без приглашения. — У тебя был посетитель.

— У меня было приглашение на молочный коктейль.

— Ты отклонил приглашение на молочный коктейль. Под дождём и очень вежливо. Я видела, как ты включаешь вежливый голос. — её глаза один раз быстро прошлись по моему лицу и снова отвернулись. — Тебе рано или поздно придётся кому-то сказать «да», Фриман. Нельзя просто вырасти на восемь сантиметров, получить кличку от Холси и потом удивляться, что выстроилась очередь.

— Очереди нет.

— Есть начало очереди. Тина — первая ласточка. Она, кстати, всем предлагает: в октябре предлагала Каллахану Нэшу. — Лид смотрела куда-то в среднюю даль с лицом огромной нейтральности, дождь шипел на тропинке между нами. — В классе одна девчонка ведёт список.

— Правда?

— Ты второй сверху. Дэйвон первый, конечно. Дэйвона никто не сдвинет — это всё равно что пытаться сдвинуть гору. — мешок качнулся на её плече, и она посмотрела на меня прямо. И вот оно — то, что я слышал, как она сказала на трибунах, сидело у неё за глазами. И я решил, стоя у этой ограды под дождём, ещё раз в жизни побыть четырнадцатилетним.

— Насчёт этой моей девушки, — я прочистил горло. — Церковной. Закрытой.

— Что насчёт неё?

— Я бы очень хотел с ней познакомиться. Раз уж она такая серьёзная. Как её зовут?

— Не твоё дело, Фриман. — Лидия развернулась и пошла вверх по тропинке с манишками, не торопясь, воротник против дождя. — Твоя девушка не очень любит бассейны. — она прошла четыре шага, остановилась и заговорила с холмом впереди, а не со мной. — Так что не води её никуда с синей подсветкой.

Тропинка унесла её быстро, прежде чем я успел собрать хоть один рабочий слог. Я стоял у ограды под дождём без мешка в руках, а вся грудь пела.

Она все выдумала, — подумал я, глядя, как она уходит. — *Она своими руками изобрела мне девушку и защитила меня перед классом своей собственной ложью, а потом сказала, куда эта девушка не ходит.*

Восемь месяцев "нормально", — подумал я, поднимая бутсы и начиная идти за ней на расстоянии, которое держал бы разумный друг.

ЕСЛИ БЫ ТЫ ТОЛЬКО ЗНАЛ
Лидия
9 марта 2012 года

Наблюдать за Честером Фриманом за зиму превратилось в работу на полставки, а я даже не подавала заявление.

Никто меня не предупредил — вот моя защита. Никто в сентябре не присылал служебную записку, что в ближайшие шесть месяцев мальчик, который когда-то был малень-

ким, прибавит ещё несколько сантиметров, наберёт полстоуна плеч и вернётся после Рождества таким, каким вернулся после Рождества.

Это происходило частями, так, как происходили все важные катастрофы в моей жизни. Джемпер, который сидел в октябре и уже не сидел в январе. Рукава, которые перестали быть слишком длинными. Момент в феврале, когда Каллахан Нэш врезался в него, пытаясь сыграть головой, сел в грязь и посмотрел снизу вверх с настоящей извиняющейся миной. Холси назвал его «*стеной*», весь год это услышал, весь год стал смотреть, а я стояла посреди всего этого смотрения со стиснутыми зубами.

Потому что раздражало не он.

Они. Тина и её список. Шарлотта Рейес и её «может быть». Две новенькие в январе, которые спросили меня — буквально спросили, — встречается ли он с кем-нибудь, будто я была справочным бюро по доступности Честера Фримана. Что, в общем-то, во всех смыслах, которые имели значение, так и было. Каждый четверг они приходили на трибуны и смотрели на номер одиннадцать, а я сидела среди них, запоминая, и это въедалось под кожу, как травяные пятна.

Он мой, — хотелось иногда объявить всей трибуне, как сумасшедшей. — *Он держал меня за руку на похоронах ещё до того, как вы узнали его фамилию.*

Дождь продолжал шипеть, пока я поднималась по тропинке с мешком манишек на плече. Я была на полпути к блоку,

когда сзади донёсся его голос.

— Лид. Подожди. — его рука легла мне на плечо, прежде чем я успела обернуться, и касание прошло сквозь меня так же, как проходило с 2004-го: зарегистрировано везде, признано нигде.

Я остановилась. Обернулась. А потом мне пришлось смотреть вверх и это было новейшее унижение 2012 года. Потому что я тоже выросла: целых пять сантиметров, сто семьдесят, достаточно, чтобы смотреть большинству году в глаза. А он уже не был в моём году, он был в погоде и моему подбородку пришлось карабкаться до самого его верха.

Он одной рукой откинул волосы со лба — мокрое золото, потемневшее от дождя и приплюснутое после всего, что творилось в схватке. Они сразу же отпрыгнули назад, непослушные, точно так же, как мои. Те же волосы. Тот же цвет — его и мой, двое детей в одном городе, выросшие из одного оттенка золотого. И я годами делала вид, что этого тоже не замечаю.

Я скрестила руки, подбородок вверх. Оборонительная архитектура, стандартная выдача десятого класса.

— Ты задержался, — пробурчала я. — Манишки чуть сами не ушли домой.

— Задержание знаменитости. Холси оставил меня, чтобы сказать «хорошо сыграл». — он одарил пожиманием плечами, которое пыталось быть скромным и провалилось наверху. — И спросить, не подумаю ли я попробовать себя в сбор-

ной графства летом, но это… я никому не говорю, сразу забудь.

— Графства. — я сказала это ровно, без впечатления, а где-то за рёбрами заиграл духовой оркестр. — Холси говорил это четырём мальчикам в этом году. Он говорил это Дойлу, а Дойл однажды забил автогол лицом.

— У Дойла лицо для этого. — на его лице появилась маленькая улыбка. — Значит, ты смотрела матч. — он снова откинул волосы и стоял, капая и сияя, метр восемьдесят с чем-то плохих новостей для моей концентрации.

— Часть. На трибунах холодно, Фриман, смотришь, что успеваешь, пока не схватит гипотермия.

— Ты смотрела всё.

— Я смотрела табло. Табло захватывающее. — я посмотрела на мокрое золото волос, на воду, стекающую с кончика его носа, и услышала, как собственный рот открывается и выдаёт ровно тот груз, который я собрала по дороге вверх: комплимент и оскорбление, сваренные вместе, моя фирменная подача. — Для протокола: я люблю твои волосы. Золотые. Они, по сути, мои — я одолжила их тебе в семь лет и так и не получила обратно. Лучшая шевелюра в школе и она потрачена на тебя. — я сильнее вдохнула. — Еще ты воняешь. Ты абсолютно воняешь потом. Это оскорбительно. Тебя надо обливать из шланга, прежде чем пускать в помещение.

Вот правда, внесённая в доказательства против меня навечно: он не вонял. В том и был скандал Честера Фримана

— то, за что я не могла его простить с Рождества. Девяносто минут грязи и спринтов под мартовским дождём и он стоял, пахнув скошенной травой, чистым дождём и, под этим, едва уловимо, преступно, одеколоном, который мама подарила ему: дорогим, тем, что взрослые мужчины носят на светские мероприятия. И он переживал футбол, переживал всё. И я ненавидела его за это чистой тотальной ненавистью, стоя на этой тропинке со скрещенными руками и вдыхая его, как ищейка.

Тогда из него вырвался смех.

Он поднялся из самой середины — настоящий, с запрокинутой головой, тот, который я считала весь день, потому что он весь день был тихим, усталым после недели, плоским за обедом, и я не слышала его с завтрака. И я не понимала, насколько мне не хватало этого звука, пока он не пришёл и вся грудь не приняла доставку.

— Комплимент и оскорбление, — объявил он, приходя в себя. — Одним дыханием. Каждый раз. Это дар, Лид. Серьёзно. — он покачал головой на меня, с дождём, слетающим с концов волос. — Есть люди, которые тренируются годами и так и не добиваются того тайминга, с которым ты родилась.

— Я над этим работаю.

— Знаю. Я смотрел, как ты над этим работаешь, с семи лет. — его глаза делали зелёное в сером свете и под взглядом был тот самый взгляд — из до-августовского времени, тот, который мы оба по молчаливому договору больше не имели.

Моя короткая улыбка вырвалась, прежде чем я успела её остановить: быстрая, незащищённая, предательская. Он поймал её. Я видела, как он поймал и подшил — так же, как я подшивала его смех.

Мы пошли. Плечом к плечу по тропинке к блоку раздевалок, так, как ходили тысячу раз. Его шаг укоротился на два дюйма под мой из давней привычки. Мешок манишек стучал между нами.

— Насчёт моей девушки, — сказал он буднично, глядя вперёд.

— Что насчёт неё? — я мельком взглянула на него.

— Я провёл небольшое исследование собственной жизни и выяснил, что не хожу в церковь. — он сказал это мягко, как человек, просматривающий свои бумаги. — Никогда не ходил. Религия отца — гольф. Религия мамы — сад и скептицизм. Так что я пытаюсь понять, где именно я должен был с ней познакомиться, с этой своей церковной девушкой, и всё время не хватает деталей. А детали меня беспокоят. Я человек деталей, ты это обо мне знаешь.

— Ты человек деталей, — согласилась я настороженно и восхищённо, чувствуя, как тропинка изгибается ровно так, как я её построила.

— Так расскажи мне о ней. — он посмотрел вниз, сбоку, дождь и зелёные глаза и всё лето, пришедшее раньше срока. — По-настоящему. Без уклонений. Ты её выдумала — ты знаешь её лучше всех. Я хочу всё. Имя, происхождение,

характер, намерения.

Осторожно, Уолтер, — сказала я себе, уже на три предложения вглубь ответа, уже склоняясь над обрывом с раскинутыми руками. — *Это тот момент, где ты всегда останавливаешься. Это дверь, которую ты никогда не открываешь при дневном свете.*

Я открыла её.

— Беатрикс, — выдавила я. — Её зовут Беатрикс, она из Эксетера и она набожная, очевидно, в этом вся предпосылка. Блондинка. — я остановилась, а затем добавила: — Примерно вот такого роста. — моя рука вышла из скрещённых рук и выровняла в воздухе высоту, которая была бы моей — минус ничего, плюс пара церковных туфель. — Играет на пианино. У неё скверный характер, который она прекрасно держит на людях и ужасно дома. Она смотрит футбол по четвергам с трибун, на холоде и говорит людям, что это ради табло.

Чес рядом очень сильно затих: всё ещё шёл, всё ещё двигал ногами и абсолютно затих во всём остальном.

— Она не любит бассейны. Не любит расстояния. У неё есть лучший друг, за которого она спалила бы весь город и она влюблена в него с тех пор, как ещё не знала этого слова. И она трусиха, Беатрикс. — подметила я, жестикулируя одной рукой. — Это её определяющая черта. Трусиха с прекрасным парнем в церкви, в которой он никогда не был, потому что настоящий стоит прямо здесь — а она не может.

Мы дошли до угла блока раздевалок. Дождь на секунду

ослаб, как умеет, и капли с желоба, тикающие между нами, стали самым громким звуком на тропинке. Он остановился, повернулся и долго-долго смотрел на меня сверху вниз — волосы в руинах, дыхание паром, всё лицо широко открыто: ни договора, ни стены, ни «нормально» — только мы двое в марте в четырнадцать-пятнадцать лет, с годами «почти» на скамейке между нами.

Он наклонился и поцеловал меня в щёку.

Без предупреждения, без слов, без всей церемонии бассейна, ничего, что я могла бы посчитать. Просто внезапный наклон и тёплое прикосновение рта ниже скулы, здесь и уже нет. Дождь на затылке. Запах травы и одеколон, а потом он снова был в футе от меня, выдыхая, как человек, всплывающий на поверхность, одной рукой проводя по собственному лицу.

Я стояла с широко открытыми глазами и ртом под стать — выброшенная на берег рыба, статуя, девочка, чья нервная система целиком покинула помещение. Рука поднялась наполовину к щеке и зависла там — нерешительная, изобличающая. Жар поцелуя растекался от точки, как тёплая вода по ткани. Я не смогла бы выдавить ни слова ни за деньги, ни за шоколад, ни за полное помилование.

Он вздохнул. Долго, рвано, от самых ботинок.

Я вздохнула. Идентично. В ту же секунду. Мы двое стояли под дождём, обмениваясь одним дыханием туда-сюда, будто одной парой лёгких, глядя друг на друга. Его лицо делало то

беспомощное, разрушенное, которое делало ровно в трёх зафиксированных случаях. Моё делало что-то противоположное самообладанию.

Никто не засмеялся. Никто не побежал. Желоб тикал.

— Ладно, — сказал он наконец хрипло, кивая сам себе, как человек, подтверждающий поставку. — Беатрикс звучит идеально. Скажи ей, что четверг ей подходит: трибуны, холод, всё. — он уже шёл задом наперёд к двери раздевалки, указывая на меня пальцем, который не был твёрдым. — И скажи, что номер одиннадцать играет лучше, когда она смотрит. Это уже не теория — это данные за шесть недель. Скажи, что стена так сказала.

Тогда улыбка расползлась по всему его лицу — редкая, та, что каждый раз перестраивала мне внутренности. Он сделал три шага к двери раздевалки и остановился.

Развернулся под дождём, всё ещё указывая рукой в никуда, и вернулся эти три шага. Я стояла на месте, рот всё ещё не до конца закрыт, щека горела, как зажжённая спичка. Он посмотрел на меня сверху со своей нелепой высоты, дождь в золотых волосах, и сказал это.

— И дело не только в волосах, прежде чем ты подшьёшь это как «про волосы». — его голос стал тихим, тем, что был моим, пока мир не получил ни капли его. — Вот что я всё время тебе позволяю. Ты раздаёшь один комплимент в год, завёрнутый в оскорбление, а я его принимаю, говорю «спасибо» и потом иду домой и живу на нём полгода, как на пай-

ке. — через него прошёл выдох, челюсть сжалась так, как сжимается перед ударом головой. — Я люблю волосы. Это правда. Я любил их ещё до того, как научился писать своё имя. Но я люблю не только твои волосы, Лид. Я люблю всё. Абсолютно всё. Начиная с волос и спускаясь до самых пяток. Я провёл полное обследование, у меня были годы, нет ни дюйма тебя, которого нет в деле. То, как ты смеёшься, будто это сбегает. То, как ты считаешь, когда боишься. То, как ты выдумала целую девушку, чтобы защитить меня от очереди за молочными коктейлями. Твои руки у пианино. Твоё лицо, когда ты врёшь про табло. Всё это, вся ты — от волос до пяток. И я ни разу не сказал этого при дневном свете. Так вот. Дневной свет. Дождь, на самом деле, но вслух.

— Чес, — выдавила я и после этого ничего не последовало, потому что в английском языке нет второго слова, которое шло бы после этого.

— В любом случае. — он потёр затылок. — Вот обновление от номера пять. Беатрикс может ждать дальнейших сводок. — его уши покраснели, самообладание висело на нём клочьями.

Он уже сделал два шага, когда дверь раздевалки перед ним хлопнула, и голова Бэйтса высунулась из неё, как перископ: волосы капали, глаза огромные. Он окинул взглядом нас двоих, дождь, расстояние, общий химический состав воздуха и голос взлетел на две октавы и разнёсся по всему полю.

— Пацаны. Пацаны! С Фриманом что-то случилось!

— Ничего не случилось, — ровно отозвался Честер, продолжая идти.

— С его лицом случилось! Посмотрите, в каком оно состоянии! Джейкоб, Джейкоб, иди посмотри на лицо Фримана, оно делает то самое, оно делает августовское, я видел это лицо раньше, я видел его…

Дверь забрала их обоих: Честер захлопнул её против продолжающейся трансляции Бэйтса. Последнее, что я услышала сквозь дерево, был голос Джейкоба, плоский, как воскресенье:

— Оставь, Бэй-Бэй. Некоторые вещи — несущие.

Я шла домой под дождём и не чувствовала ни единой капли.

Щека оставалась тёплой всю дорогу. Мимо магазинов, мимо изгороди, до самых ворот. Я постояла у ворот минуту, прежде чем войти, как всегда делала: переключалась, укладывала день в отделение, куда дом не мог достать.

Но день не укладывался. Он сидел у меня в груди всю дорогу вниз по тропинке — огромный, светящийся, отказываясь становиться меньше, чем был.

Он любит всё, — думала я позже у окна, со светом выключенным, дом тихий, потолок надо мной тот же, что каждую ночь. — *От волос до пяток. При дневном свете. Вслух. Двадцать минут пятого в четверг под дождём и он сказал это вслух.*

В одиннадцать пятьдесят телефон засветился.

Он лежал экраном вниз у меня на груди, так, как лежал каждую ночь к тому времени, маленький вес поднимался и опускался с дыханием. Свечение поднялось по краям, будто что-то подсвеченное снизу. Я перевернула его, сердце уже колотилось, потому что одиннадцать пятьдесят в стране, которую мы построили между двумя домами, означало одну-единственную вещь.

Spotify. *Уведомление.*

Честер создал новый плейлист: From your hair to your heels.

Одна песня.

Я нажала, прежде чем руки успели затрястись до потери управления. Наушники, тихий звук — весь ритуал не изменился даже после месяцев тишины. Начало вошло мягко, акустически, осторожно, как задержанный вдох. Потом начался голос, и я лежала в своей тёмной комнате в четырнадцать лет и позволяла каждой строчке приземлиться туда, куда она целилась.

I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy.

I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need.

Truly Madly Deeply. **Savage Garden**. Песня, написанная до того, как кто-то из нас родился. И я поняла за один куплет, почему именно её: это была не песня — это была речь с тропинки, положенная на музыку, каждое слово. Речь, которую он произнёс мне при дневном свете, потому что я попросила её кодом. Речь, которую я посылала ему названиями из

одного слога целый год, а он отвечал тем же и теперь он перестал кодировать.

I want to stand with you on a mountain.

I want to bathe with you in the sea.

Я прижала рукав ко рту. Дом спал вокруг — все замки заперты, все тёмные комнаты темны. А в тёплом чистом доме, мальчик лежал в своей темноте и делал это, строил это, посылал через расстояние, потому что расстояние было единственным местом, где нам когда-либо разрешали быть.

I'll love you more with every breath.

Truly, madly, deeply, I do.

И вот оно. Припев, вся суть, всё целиком — слова, которые я держала в запертой комнате в самом дальнем конце себя с тех пор, как в семь лет сидела в изгороди с зелёным мороженым на брови. Сказал незнакомец в студии звукозаписи в 1997-м, будто заранее знал, что однажды мартовской ночью девочке в Девоне понадобится, чтобы их перевели за неё.

Я буду любить тебя сильнее с каждым вздохом, — думала я, наушники в ушах, обе ладони плашмя на грудине, удерживая двери закрытыми, удерживая всё внутри. — *Это самое правдивое предложение, которое когда-либо целилось в меня, Честер Фриман. Ты сначала выпустил его при дневном свете, под дождём, от твоих волос до моих пяток, а потом сделал это снова ночью — в единственном почтовом ящике, который у нас есть, — потому что ты основатель-*

ный, ты терпеливый и ты любишь меня, как религию, в которой тебя воспитали.

А я не могу сказать это в ответ. В том вся трагедия. Я никогда не смогу сказать это в ответ, потому что всё, что я люблю, этот дом находит. А всё, что он находит, — ломает.

Я долго лежала, пока песня крутилась, и слёзы текли боком в волосы — так, как текли: тихо, дрессированные домом.

Когда песня впечаталась в кости, я ещё раз взяла телефон.

Новый плейлист. Поле названия мигало.

Я набрала большим пальцем, дрожа, три слова — самые большие, какие у меня были, самые большие, что когда-либо отправляла через этот ящик, самое близкое к правде, что когда-либо проходило сквозь щель в моей стене.

You already do.

Одна песня. **The Beatles**. *If I Needed Someone*. Я выбрала её за десять секунд, потому что два года знала, какая это будет, если когда-нибудь наберусь смелости. Добавила, нажала «отправить», положила телефон экраном вниз на грудь и лежала в темноте своего запертого дома с его песней в ушах, а мой ответ шёл вверх по улице к нему.

Ты уже это делаешь, — сказала я ему через темноту, через всё, что стояло между девочкой, которую он любил, и девочкой, которая любила его в ответ. — *Каждым вздохом, Фриман. С изгороди. Ты уже это делаешь.*

НА ЯЗЫКЕ ДВОИХ
Честер
10 марта 2012 года

В одиннадцать пятьдесят шесть телефон засветился у меня на груди, и уведомление сообщило, что она создала новый плейлист, а название у него было из трёх слов, я лежал в своей тёмной комнате, держа всю свою жизнь в одной руке.

Ты уже это делаешь.

Я смотрел на него так долго, что экран погас, и мне пришлось коснуться его, чтобы разбудить, а потом смотрел ещё, потому что в тот день я уже дважды произнёс эту речь — один раз под дождём и один раз в песне, — и где-то в глубине меня, в той части, которая научилась ничего не ждать от дневного света, я приготовился к тишине.

К вежливому ничего. К тому, что договор продержится ещё один год.

Вместо этого она прислала три самых больших слова на языке.

Внутри — одна песня. Я нажал «play» большим пальцем, который не совсем подчинялся мне, наушники в ушах, дом спит, машина папы во дворе, лампа мамы погашена в конце коридора, всё тёплое здание дышит вокруг меня, и трек открылся одним фортепиано — одиноким, неторопливым, будто кто-то сел за клавиши в пустой комнате, потому что кое-что можно было сказать только так. А потом вошёл голос

— низкий, надтреснутый и терпеливый, — и я лежал в мартовской темноте и принимал каждую строчку прямо в грудь.

Если бы мне нужен был кто-то, кого любить, ты была бы той, о ком я думал бы.

Мне пришлось прижать предплечье к глазам. Песня была старой, старше нас, Битлз, наверное, из отцовской коллекции пластинок, и она прошла мимо всех песен, которые наше поколение когда-либо включало на вечеринках, и ушла на двадцать лет назад, чтобы найти именно эту.

И эта была именно такой. «*Если бы мне нужен был кто-то*». Как будто это условно. Как будто за последние годы существовала какая-то версия, в которой ей был нужен кто-то ещё, а я не стоял рядом.

Если бы у меня было больше времени, то, наверное, я бы был с тобой, мой друг.

Мой друг. Слово было в песне, в самой лирике, и оно должно было кольнуть. Слово кололо с тех пор, как настал август, на глубоком конце, но сегодня оно не кололо, потому что над ним стояло название.

Ты уже это делаешь. Песня говорила «друг», а название — всё остальное, и между этими тремя словами и этими двумя лежало целое признание, сложенное, как письмо, а я годы учился читать её именно так — стороной, кодом, через единственный почтовый ящик, который у нас был.

Я проиграл её девять раз. Я считал, потому что счёт — это наследство, которое она оставила во мне. Девять раз подряд

и где-то на четвёртом глаза у меня стали мокрыми в темноте, и я позволил им быть такими, потому что в полночь не перед кем играть, а где-то на седьмом я понял форму того, что она на самом деле сказала, всю архитектуру этого.

Ты уже любишь меня. Каждым дыханием, как говорит песня. Я не отвечаю на твою речь, Чес. Я подтверждаю получение речи, которая началась годы назад, в живой изгороди, с зелёным мороженым, и я хранила её всё это время.

Продолжай, говорила песня. Это был её ответ на дождь, на от-волос-до-пяток, на всё. Ты уже это делаешь. Не останавливайся. Не проси меня сказать это при дневном свете, потому что дневной свет — это страна, где стоит что-то, но никогда не думай, что это неправда.

Я набрал ответ несколько минут спустя, стёр. Набрал снова, стёр. Мальчик со сотней плейлистов в истории и без единой рабочей фразы в ноль часов, и в конце я не отправил ничего, потому что некоторые квитанции не подписывают, их просто держат в груди.

Я положил телефон экраном вниз на тумбочку и лежал в темноте, заложив руки за голову, а сердце билось, как прилив о морскую стену, и я делал подсчёты на потолке так, как делаю все свои лучшие подсчёты.

Ничего не меняется, — честно сказал я штукатурке. — *Это мелкий шрифт, и я это знаю. Она дала мне самое большое, что у неё есть, и дала это в полночь, в песне, кодом, а завтра у ворот она будет в обычном и я буду в своём, и до-*

говор держится, и никто из нас не может этого коснуться. Она ничего не открыла. Лид. Она просто сказала, что дверь настоящая.

Этого достаточно, — подумал я, имея это в виду, и уснул, действительно уснул, как человек, который годами нёс письмо и наконец увидел, как оно прибыло.

На следующее утро я спустился к завтраку сияя, и мать прочитала меня поверх кофе, как заголовок.

— Ну что ж, — сказала мама, перелистывая страницу газеты. — Кто-то хорошо выспался.

— Восемь часов, — ответил я, насыпая хлопья, само воплощение невинности.

— М-м. — она сделала глоток. — Забавно. Вчера ты поднялся наверх, как мальчик, который побывал под дождём, а спустился, как мальчик, которому пришло письмо. — ее глаза оставались на печати, но прицел был весь на мне. — А настоящая почта приходит только в половине девятого. — ещё глоток и мама перевернула страницу. — Я не спрашиваю, дорогой. Я никогда не спрашиваю. Я просто фиксирую, что чем бы оно ни было — тебе это идёт.

— Ничего такого не было, — пробормотал я слишком быстро и она улыбнулась своей газете, позволила мне мою выдумку и отрезала мне лишний кусок тоста, не спрашивая, потому что моя мать знает всю историю раньше, чем я сам.

Дорога в школу была проверкой, и я провалил её во всех направлениях.

Она стояла на углу в восемь двадцать с поднятым воротником против мартовского ветра, увидела меня с тридцати ярдов и я смотрел, как она собирает себя в нормальность — плечо за плечом, кирпич за кирпичом, — а я сделал то же самое перед зеркалом перед уходом и два представления встретились на углу и пожали друг другу руки.

— Доброе утро, — сказала она.

— Доброе.

— Поздновато для тебя. Я уже почти пошла без тебя.

— Ты бы никогда не пошла одна, Уолтер, тебе бы стало скучно через сто ярдов и ты бы весь путь рассказывала себе.

— Правда. — её глаза на миг метнулись ко мне вбок, проверяя договор, проверяя погоду между нами, и снова на тротуар. — Хороший матч вчера. По табло.

— По табло, — коротко кивнул я.

— Говорят, одиннадцатый номер хорошо сыграл. *Стена*, так его называют. Холси очень воодушевлён. Ходят разговоры про округ. — Лид остановилась. — Не то чтобы мне кто-то сказал. Это просто общее знание, как и все твои секреты, которые не являются.

— У Беатрикс источники.

— У Беатрикс лучшие источники в школе, — согласилась она безмятежно, и вот оно — код, текущий под обычным, как течение под льдом.

Вся моя грудь гудела от этого и я смотрел прямо вперёд на проплывающую изгородь и позволял ей нести нас обоих

вдоль неё, потому что это был новый договор, тот, что с прошлой ночи.

Всё правда, сказано стороной, навсегда, на языке, который умеем читать только мы двое.

Парни это заметили к обеду, конечно же.

— Так, — сказал Бэйтс, ставя поднос напротив меня с видом человека, созывающего слушание. — Лицо у двери раздевалки. Я хочу вернуться к лицу у двери раздевалки. В четверг. Под дождём. Ты что-то поцеловал, Фриман, я думал об этом весь уикенд, подробно обсуждал это с самим собой и мой вывод: такое лицо в природе не встречается. Что-то случилось.

— Ничего не случилось, — вздохнул я.

— Что-то случилось! — настаивал Хок. — Джейкоб, поддержи меня.

— Он зашёл в раздевалку, принял душ и оделся. Вот и всё, что случилось. — Джей неторопливо разворачивал бутерброд. — Я смотрел, как он делал все три вещи. Это было как смотреть документальный фильм про очень спокойного человека.

— Это не то, что говорило его лицо!

— Я не читаю лица. Лица ненадёжны. Я читаю факты. — Укус, глоток, и глаза Джейкоба поднялись ко мне ровно на одну секунду — плоские, знающие и целиком на моей стороне. — Ничего не случилось. Вопрос закрыт.

— Со всеми что-то происходит, — сказал Бэйтс, откиды-

ваясь, преданный вселенной. — Дэйвон знает, Джейкоб знает, лицо знает. Я лучший друг. Исторически лучшего друга информируют. Меня оставили за пределами петли и я хочу, чтобы было зафиксировано, что мне обидно, и что когда петля в конце концов откроется — а она откроется, всё когда-нибудь открывается, — я буду брать показания.

— Оставь, Бэйтс, — Дэй, в конце стола, впервые за весь разговор поднял взгляд от чипсов. — Это не петля. — его взгляд прошёлся по всем нам один раз, неторопливо, и остановился на мне. — Это долгая прогулка и на ней двое ног, она идёт с тех пор, как мы все ещё не умели нормально читать. — он снова опустил глаза на чипсы и последнее прозвучало тихо, не жёстко, окончательно: — Некоторые идут живописным маршрутом к месту, куда уже прибыли. Не наше дело, сколько они стоят у ворот.

Стол на секунду затих. Бэйтс открыл рот и Джейкоб, не поднимая глаз, сунул ему в него чипс.

Живописный маршрут, — подумал я над своим бутербродом, никуда не глядя в сторону музыкального блока, где играло фортепиано — какая-то гамма, какая-то разминка, какая-то девочка. *— Он прав, и он знает, что прав, и знает это с тех пор, как на скамейке в сером дворе сказал мне, что я выдержу худшее, и именно поэтому это я.*

Не торопись, Лид. Я хорошо умею ждать. Я лучший в году в нормальности и второй в ожидании, потому что первое место в ожидании занимает девочка, которая несколько

лет держит живую изгородь и зелёное мороженое, ни разу не сказав об этом вслух.

В ту ночь в одиннадцать пятьдесят телефон снова засветился и уведомление гласило: *Лидия добавила песню в свой плейлист:* ***Ты уже это делаешь.***

Тот же плейлист. Вырос на одну. И когда я открыл его, там уже было две песни — её вчерашняя и новая под ней, и новая называлась *Here Comes the Sun*. Я лежал в темноте и слушал, как Джордж Харрисон поёт: *little darling, it's been a long, cold, lonely winter*, и понимал каждое слово того прогноза погоды, который она мне посылала.

Я знаю, — подумал я и прижал телефон к груди, как грелку. *— Я знаю, Лид. Для нас обоих была долгая холодная одинокая зима. Но я — солнце и я иду, я иду с тех пор, как нам было семь и буду идти, пока ты не перестанешь присылать мне песни в полночь.*

Даже если этот день никогда не наступит. Даже если мне будет девяносто, а песни всё равно будут идти стороной. Ты уже это делаешь и я уже это делаю, и это всё, а остальное — просто погода.

ЦЕНА ДОГОВОРА
Лидия
10 марта 2012 года

Утренняя перекличка пахла маркером для доски и трид-

цатью подростками. Я заняла парту рядом с Честером Фриманом в сентябре десятого года комбинацией подушки на стуле и бессовестной лжи про зрение и с тех пор защищала эту территорию с дипломатией пограничного государства.

Он сидел рядом со мной так же, как сидел рядом со мной везде: длинные ноги складывались неправильно под школьную мебель, рукава белой рубашки закатаны, потому что новая форма всё ещё не успевала за новыми руками, он писал дату тем самым косым почерком, который я могла узнать через всю комнату или через всё графство.

Нормально. Всё было нормально. Мы вошли в восемь двадцать рядом, говоря на беглом коде и весь день тянулся впереди, как держащийся договор. А потом дверь класса открылась, и вошла миссис Кесслер с девочкой позади.

— Так, успокоились. Перед перекличкой у нас сегодня новичок. — Миссис Кесслер прошла к доске и выдвинула девочку вперёд, как ведущая прогноза погоды, открывающая фронт. — Это Софи Марш, к нам из Манчестера и я ожидаю, что вы все её хорошо примете, что в нашем классе — низкая планка, но я знаю, что вы её преодолеете. Софи, у окна есть свободная парта и если Бэйтс попросит подержать его чипсы — это не школьное занятие.

Иначе говоря, день стирки рассадки. А свободная парта у окна была позади нас, и путь к ней проходил мимо нашего ряда.

Она была красивой. Я хочу, чтобы в протоколе значилось:

я оценила её с полной объективностью и она была красивой — тёмные волосы в том лёгком стиле, который намекает на маму с хорошим парикмахером, манчестерский акцент, звучавший экзотично и уверенно в комнате, полной девонских гласных, и улыбка, которую она раздавала по классу, как политик, работающий зал.

Я смотрела, как её глаза делают круг по форме — сначала мальчики, естественный обзор новой территории, — и смотрела, как обзор останавливается на моей левой стороне и остаётся там. И моя ручка, которая писала дату в тетради моим почерком, тоже остановилась.

О, — подумала я со спокойствием девочки, которая смотрит, как штормовой фронт накатывает на поле, которым она владеет. — *О, понятно.*

Перекличка прошла, вызов имён, обычный театр. Миссис Кесслер остановилась на букве «Б», держа ручку на весу.

— Кто-нибудь знает, почему Оливии и Бэйтса нет? Никто? Впервые, обычно он первым подробно объявляет о своих отсутствиях. — в ее журнале появилась пометка. — Ладно, мне звонили, они нездоровы, какой-то вирус и я хочу официально заявить, что громкость в этой комнате снизилась по закону. Молитесь, чтобы ненадолго.

Класс засмеялся. Я засмеялась чуть-чуть, автоматически, рабочая мышца представления, а под партой моя ручка начала делать что-то с полями тетради, на что мне потом придётся смотреть и брать ответственность. Борозды. Многослой-

ные борозды. Бумага белела и становилась пушистой под остриём там, где я проходила по одной и той же линии достаточно раз, чтобы вырыть её.

Потому что Софи Марш после переклички не пошла к своей парте у окна. Софи Марш дрейфовала.

Она сделала это хорошо, признаю. В этом целая наука: небрежный подход, полуоборот новой девочки, которая спрашивает у ближайших оседлых туземцев что-то законное — вопрос про расписание, самый старый ключ в мире. И она прошла по нашему ряду с листком бумаги на вытянутой руке и остановилась у парты рядом со мной, у мальчика рядом со мной, и шторм обрушился на берег.

— Простите, это прозвучит очень глупо. — послышался манчестерский голос, яркий, тёплый, нацеленный точно на него, а не на меня. — У меня математика вторым уроком, но здесь написано «кабинет 12», а я не могу найти кабинет 12 и кто-то сказал, что ты знаешь, потому что ты, видимо, тот, кто знает вещи. Честер, верно? *Стена*.

Стена. Она была в здании сорок минут и уже знала прозвище. Где-то позади я услышала, как скрипнул стул Джейкоба от сдерживаемого чего-то, а Дэйвон издал маленький звук, который не был словом и был точнее любого слова.

— Это я, — Честер повернулся в кресле, чтобы быть вежливым с ней, потому что он был вежливым со всеми — в том и заключалась вся его трагедия: вежливость во все стороны, как маяк, освещающий всё одинаково, без права голоса в су-

доходстве. — И это не глупо, нумерация кабинетов вообще никуда не годится, всё перенумеровали в 2001-м, а карты до сих пор говорят иначе. Кабинет 12 — это бывший кабинет 7, он в математическом коридоре, том, что за столовой, а не том, где фреска. Все ошибаются у фрески.

— За столовой, не у фрески. Поняла. — Софи перенесла вес, устроилась, неторопливо, девочка, которой никуда срочно не надо и у которой появился новый интерес к географии. — Ты идёшь на эти графские испытания? В холле говорили. Это же огромно, да? В моей старой школе никто никогда не ходил на графские.

— Просто испытания. Пока ничего не произошло.

— Такая скромность. Все говорят, что ты уже практически прошёл. — листок бумаги медленно складывался, его навигационное назначение давно умерло, и она наклонилась на градус. — На какой позиции ты играешь? Я раньше постоянно смотрела в старой школе, брат играет, мы ходили каждую субботу.

Моя ручка совсем перестала притворяться, что пишет. Под тетрадью свободная рука сжалась в кулак в юбке, я сидела очень прямо и очень неподвижно, глядя на вырытые борозды, дыша как женщина в родзале, делающая упражнения, и я хочу, чтобы в доказательствах значилось: я не сказала ни слова. Ни одного. Я исполняла безмятежность на профессиональном уровне, пока каждая клетка моего тела вставала на задние лапы.

Ты получила ответ. Коридор туда. Иди, Манчестер. Осторожно с фреской.

Софи Марш была хорошей девочкой. Я знала это уже тогда, где-то под красной пеленой, через ту честную и объективную часть меня, которая продолжала работать, как бортовой самописец. Она была дружелюбной, уверенной, новой и делала ровно то, что делает разумный человек в первый день: находит самого компетентного на вид человека в комнате и строит мосты. И если бы этот компетентный на вид человек не был тем, кем он был, я бы, наверное, её очень полюбила и говорила бы об этом всю оставшуюся жизнь.

Но он был тем, кем был. И она наклонилась к нему. И где-то в последней фразе она засмеялась над тем, что он сказал, и коснулась края его парты одним пальцем — одним кончиком пальца контакта, самой маленькой возможной претензией, — и звук моей собственной крови становился настолько громким, что класс начинал гудеть по краям.

Позади нас, на местах у окна, собралась галёрка.

— Псс. — голос Джейкоба, низкий, нацеленный с точностью стрелка в мой затылок. — Уолтер. Твоя ручка вот-вот пройдёт сквозь парту.

Я не обернулась. Я снова написала дату поверх старой, в борозде, надавливая.

— Второе предупреждение, — продолжал Джейкоб безмятежно, скорее Дэйвону, чем мне, на громкости, рассчитанной так, чтобы я слышала, а все остальные могли отри-

цать. — Это ручка-заложник. Она взяла ручку в заложники. Если Марш не переедет в ближайшие девяносто секунд, ручке конец.

— Оставь, — тихо сказал Дэй.

— Я просто наблюдаю. Свободная страна. Я наблюдаю то, что передо мной, а передо мной девочка, которая роет до самого ядра земли, и новая девочка, которая проводит осмотр участка, я всего лишь отмечаю, что два этих факта делят один коридор.

— Джейкоб. — голос Честера, всё ещё полуповёрнутый к Софи, всё ещё вежливый, и всё же это одно слово вышло с плоскостью ладони, и галёрка притихла на градус.

Он защищал меня. Не глядя на меня, не поворачиваясь, не нарушая договор нормальности, который держал нас всех на месте, он поставил стену поперёк поддразнивания, так, как ставил стены поперёк вещей для меня. Моя яростная ручка на секунду замерла, пойманная между яростью и стеной, а потом вернулась к работе с удвоенным насилием, потому что ярость побеждала, потому что всё утро было преступлением, а вежливость сама по себе была своего рода провокацией, когда её тратили во все стороны сразу.

— Извини, — говорила Софи. — Я тебя совсем задержала. Ты, наверное, был чем-то занят.

— Вовсе нет, — сказал Честер Фриман золотых волос, графских испытаний и церковной подруги, которой не существовало, красивой новой девочке, которая сложила своё

расписание в маленький квадратик, явно собирающийся лечь ей в карман как сувенир. — За столовой. Не обращай внимания на фреску, фреска врёт. А испытания в июне, так что все забегают вперёд и весь холл, видимо, тоже.

— Тогда я найду тебя после математики, если заблужусь по дороге обратно. — она сказала это легко, смеясь, брошенной фразой, той самой, которая ничего не значит, той самой, которую новые девочки используют с момента изобретения школ.

И она унесла свой квадратик расписания, тёмные волосы и уверенный акцент к парте у окна, и воздух вернулся в комнату, а я сидела неподвижно за партой с датой, вырытой в тетради, как на надгробии.

Урок начался. Голос миссис Кесслер двигался по реестру послеобеденного времени, «Мы и другие», какая-то глава, какой-то листок, а моя ручка вернулась на поля и обрабатывала их, борозду за бороздой, целую раскопку и я смотрела на доску и не видела ничего.

Потому что вот чем я занималась вместо учёбы. Я смотрела на него искоса, с близкого расстояния — на профиль, который знала лучше собственного: челюсть, веснушку над бровью, золотые волосы с классным светом в них, — и делала арифметику, которая копилась весь семестр: подсчёт трибун, списков, очередей и теперь новая девочка в здании сорок минут, сорок минут и ей не понадобился даже полный урок, чтобы найти дорогу к его парте.

Мир его находил. Вот и сумма. Каждую неделю он вырастал ещё на сантиметр, ещё на одну репутацию, ещё на одно прозвище и у мира было отличное зрение, и он будет продолжать приходить — очередями, с расписаниями, вечно, — а единственный человек во всей школе, который знал, что его сердце уже занято с 2004-го у живой изгороди, сидел рядом и рыл траншею, не в силах сказать об этом ни слова при дневном свете.

Я это сделала, — подумала я, скребя борозду. *— Я построила стену, я придумала девушку, я установила правила и теперь мне сидеть внутри них и смотреть, как мир ходит и разглядывает то, что моё. Это мелкий шрифт. Это цена договора, и я его подписала, и жаловаться некому.*

Он наклонился через промежуток между нашими партами.

Под прикрытием монотонного голоса миссис Кесслер, вне радара класса и мира, он повернул голову на несколько градусов, сократил расстояние до моего уха и положил туда слова — тихо, тепло, настроенные только на двоих и ни на кого больше в графстве.

— Ты в порядке?

Два слова. Проверка. Та самая, что шла между нами с серого двора и скамейки, вся система его, сжатая в шёпот, дыхание у уха, запах его мыла и травяного шампуня, — и он это видел. Конечно, он это видел. Он родился, чтобы это видеть. Годы чтения моих рук раньше лица, а руки провели

весь разговор на глазах у свидетелей.

Я кивнула.

Молча. Один раз. Ложь от самых корней, произнесённая сквозь зубы, так же, как я произношу каждую важную ложь: гладко, не моргая. И он смотрел, как кивок приземляется, смотрел на моё лицо, и знал — я чувствовала, как он знает, так же, как всегда знал, мальчик, которого я ни разу в жизни не смогла обмануть.

Разве он не видит? — думала я, глядя на доску, в никуда, на всю форму своей жизни. — *Я принадлежу ему. Он принадлежит мне. Мы связаны, связаны, прошиты по швам с кладбища и живой изгороди, зелёного рта от мороженого. Нет девочки в этой школе или любой другой, которая изменит хоть одну нить этого, и он знает, он должен знать. Он два дня назад сделал мне плейлист под названием „от твоих волос до пяток", а я ответила ему на единственном языке, который мне разрешён, и теперь я сижу здесь при дневном свете и рою траншеи, не в силах заявить права, смотрю, как мир выстраивается в очередь, потому что в моём доме в шкафу есть ремень и правило о том, что мне позволено держать на свету.*

Не торопись, Уолтер, — сказала я себе, пока миссис Кесслер переворачивала страницу, а новая девочка устраивала вещи за партой у окна с шорохом новых начинаний. — *Ты сама установила правила. Правила держат его чистым. Так что сиди в траншее, дыши, считай и жди полуночи, по-*

тому что полночь — твоя страна и в своей стране ты можешь сказать ему правду чужими песнями, он ответит и никто из вас не скажет об этом ни слова в восемь двадцать завтра. Вот весь брак, вот всё, чем мы являемся, и храни меня бог — я возьму это вместо любого дневного света в мире.

Ручка остановилась.

Рядом, без слова, не поднимая глаз от своего листка, Честер протянул руку через промежуток между нашими партами и повернул мою тетрадь на четверть дюйма ко мне — мягко, снимая давление со страницы, — и оставил руку рядом с моей на парте на одну открытую секунду, посреди класса, посреди дня, прежде чем она убралась.

Под столом, где класс не видел, его мизинец зацепился за мой.

Один контакт. Самый старый контракт в моей жизни, обновлённый на уроке математики, при дневном свете, в нарушение всех договоров, которые я когда-либо писала. И я смотрела на доску и не убирала руку, он тоже, а миссис Кесслер продолжала монотонно говорить об алгебре, будто весь мир не перестраивался тихо под одной партой.

СУЩЕСТВО НОЧИ
Честер
6 июня 2012 года

Семь спальных мешков лежали разбросанными по задней лужайке Блейков, словно брошенные брёвна, две палатки стояли криво позади них, а последний июньский свет стекал с неба над изгородью, пока семеро из нас спорили о правильном порядке вещей.

Ночь дружбы. Бэйтс придумал её в восемь лет, произвольно назначил дату и с тех пор защищал с рвением человека, охраняющего национальный праздник, и каждое шестое июня мы были юридически, эмоционально и громко обязаны провести ночь на открытом воздухе вместе в чьём-нибудь саду.

В этом году была очередь Джейкоба и сад объявили зоной без взрослых по договору, хотя папа Джейкоба уже дважды выходил — один раз с тарелкой сосисок, а второй просто постоять в дверном проёме, глядя на нас с выражением, которое я узнавал у собственного отца: тем, что анализирует всю компанию и находит её хорошей.

Чудом вечера была Каталина Голдман.

Она сидела, скрестив ноги, на спальном мешке в джинсовых шортах и с выражением постоянной тяжбы, скрестив руки, охраняя пакет «Харибо», словно дракон яйца, и каждый из нас знал историю, как она сюда попала, потому что Бэйтс рассказывал её одиннадцать раз по дороге.

Он вёл кампанию две недели. Он сделал ей открытку. По слухам, он ходил к ней домой и говорил с её матерью — акт дипломатии настолько безрассудный, что Дэйвон медленно

покачал головой, когда услышал об этом, словно человек, услышавший, что кто-то ткнул лицом в осиное гнездо.

— Я здесь под протестом, — объявила сейчас Каталина группе, небу, уже, пожалуй, в четвёртый раз. — Это экскурсия, в которую меня втянули манипуляциями. Если кто спросит — меня похитили.

— Ты пришла, — сказал Бэйтс безмятежно, лёжа с руками за головой на своём мешке. — Она пришла, дамы и господа. Добровольно и через калитку, держа термос.

— Я держала термос в заложниках!

— Семантика.

Оливия фыркнула со своего места у входа в палатку, уже куда-то это записывая — она записывала всё, делала это с тех пор, как никто из нас ещё не умел писать слово «избирательный округ».

Лидия лежала на животе рядом с ней, подбородок на сложенных руках, волосы распущены на ночь и садовый фонарь через два мешка бросал мягкий жёлтый край вдоль её профиля, я смотрел на него так же, как смотрел на всё, что касалось её, — открыто, из-за экрана группового шума, где смотреть было законно.

Устраивание происходило так, как происходило всегда: в медленной перетасовке мешков, локтей и споров о том, кто ближе к сквозняку. Мне досталась середина. Дэйвон занял дальний конец с достоинством человека, претендующего на высоту, Джейкоб распластался в своём мешке, словно пись-

мо, входящее в конверт, и шум постепенно спал до этой сонливой лагерной бормотни — шуршание нейлона, телефон, играющий что-то тихое, Каталина, шепчущая что-то Оливии, от чего Оливия хрипела.

А потом в мир, в священную темноту, Бэйтс пукнул.

Не маленький пук. Не из вежливости. Длинный, резонансный, безошибочно такой, в котором, казалось, участвовал весь его скелет, и сад вокруг него абсолютно затих, шесть голов поднялись с подушек в темноте, словно сурикаты.

— Перестань пукать, ты, чудовище. — голос Дэйвона пришёл плоский и немедленный из черноты. — Ты нас всех отравишь.

— Есть законы, — повысил тон Джейкоб, садясь. — Есть законы против того, что это было. Это было химическое событие. Я почувствовал его на ветру. Палатке понадобится проветривание на неделю.

— Это были сосиски, — пробормотал Бэйтс с достоинством.

— Это были не сосиски. Сосиски так не делают. Сосиски — это еда. Это было преступление с запахом…

Лидия сломалась первой. Смех вырвался у неё откуда-то возле ботинок — полный, незащищённый, тот, что запрокидывает всю голову, — и Оливия пошла на полсекунды позже, а потом Каталина выдала реплику, которая доконала остальных.

— Не беспокойтесь, все. — выдавила Каталина холодная,

как зал суда, глядя прямо в темноту. — Я читала об этом. Это называется крик о помощи и я буду проводить терапию. — она остановилась, а затем добавила: — С минимального расстояния в сорок футов.

Джейкоб рухнул в мешок, воя. Дэйвон засмеялся, по-настоящему засмеялся, редким полным смехом, который показал все зубы и перестроил всё лицо, и даже я лежал, хрипя в небо, со слезами в углах глаз, пока Бэйтс сидел в обломках собственной репутации и оглядывал всех нас с нарастающим возмущением.

— Ладно. Ладно. Когда газы революции придут за остальными из вас, вспомните, кто страдал первым. — голова Бэй-Бэя повернулась ко мне в свете фонаря. — Фриман. — я увидел его поворот раньше, чем он прибыл. — Эй, Фриман. Покажи им руки, приятель. Давай. — медленная коварная улыбка пересекла его лицо. — Каталина не видела руки. Каталина должна увидеть руки, она новенькая в районе, это, по сути, экскурсия по достопримечательностям. Согни для дам.

Мой средний палец поднялся, даже не оторвав головы от подушки.

— Честно, — сказал Бэйтс девочкам, Богу, — он показывает их всем остальным. У Холси это в обороте. Целый полк десятиклассников это видел. Я прошу — и получаю это! Я, его лучший друг. Мне показали палец, как обычному незнакомцу.

— Тебе показывали руки в марте, ты, лжец, — сказал

Джейкоб. — Ты упал в обморок.

— Я не упал в обморок, я быстро сел.

— Ты рухнул.

— Тебе ли говорить, ты, абсолютный ботаник, ты проиграл драку скамейке в апреле…

— Скамейка была мокрой и ты это знаешь, нытик, не переписывай историю при свидетелях.

— Свидетели, — повторил Дэйвон, складывая руки за головой. — Только что смотрели, как ты упал с мешка, на котором сидел, на ровной траве. Прими поражение, Бэйтс.

— Я тебя уничтожу, Кавелли. — замешкался Хок. — Тебя и твои подозрительные отсутствия на каждом физкультурном уроке подряд, ты, штука, сидишь там, как лампа, я видел, как ты бегал дважды, и оба раза это было личное…

— Дважды, — согласился Дэйвон, невозмутимый.

— Дважды! Он признаёт! Человек бегает дважды в десятилетие и читает лекции мне!

— Кто-нибудь посадите животное в клетку, пока он снова не пукнул, — Джейкоб зажал нос. — По одному преступлению за раз, чудовище.

— Назови меня чудовищем ещё раз, Блейк, ты, тупица, и посмотри, что случится с твоей палаткой ночь…

— Это моя палатка, ты будешь вандализировать собственное жильё, ты, абсолютный ублюдок.

— Спланируй хорошо, — сказала Каталина безмятежно в шум, — и я напишу психологический профиль для суда.

Весь сад снова сложился. Девочки были разбиты, Лив задыхалась что-то про необходимость блокнота, Лид била траву ладонью и смех шёл волнами какое-то время. Я лежал посередине всего этого с руками за головой и ноющей от этого грудью и думал: *это. Что бы ещё ни случилось с семью нами, это случилось, на лужайке в июне, и никто не сможет это у нас забрать.*

Именно Оливия, как и следовало ожидать, направила нас в глубокую воду где-то за полночь, когда шум стал низким и размытым.

— Вы когда-нибудь думаете, кем мы все будем? — проговорила она небу изнутри мешка. — Типа, по-настоящему будем. — ее голос смягчился от часа. — Когда всё это, знаете. Закончится. Школа позади. Кем мы станем?

Тишина прокатилась по саду и я потянулся и щёлкнул кемпинговым фонарём, ровно настолько, чтобы сделать нас всех золотыми по краям, и семеро человек выбрались из мешков и сели в грубый круг в свете — кольцо худи, спальных мешков и травы в волосах у всех.

Лидия устроилась в промежутке между мной и Дэйвоном, натягивая рукава худи на костяшки, и её плечо пришло в покой к моей руке — тёплая линия контакта, которая ничего не значила и значила всё, — и я перестал дышать сквозь это так же, как переставал дышать сквозь это все годы.

Каталина пошла первой, потому что Каталина никогда не ждала приглашения.

— Психология. — сказала она, словно приговор. — Клиническая, в итоге. Собственная практика, кресло, одни из тех маленьких часов, на которые никто не смотрит. Люди — системы. Все — системы и у большинства работает сломанное программное обеспечение, которое никто никогда не проверял, и я хочу быть той, кто проверяет. — ее подбородок поднялся. — Вот и весь ответ. У меня он с девяти лет.

— Будешь лечить психов, значит, — выдавил Бэйтс из своего мешка, полезный как всегда.

Её локоть выстрелил вбок ему в рёбра, даже не повернув головы.

— Ты уже в списке, идиот. — она не сбилась ни на долю секунды, не потеряла хладнокровия и круг завыл, а Бэйтс сложился, держась за бок.

Оливия сделала слышимый вдох журналистки, которой поднесли золотую жилу.

Дальше порядок пошёл по кругу.

— Не знаю, честно. — Бэйтс пошёл следующим, всё ещё потирая рёбра. — Бизнес, может. — он пожал плечами. — Что-то со сделками. — он остановился, пока мы все поглощали шок. — Что? Я хорошо говорю. Люди, которые много говорят, либо становятся ведущими, либо преступниками, а у моего отца уже был один сердечный переполох в этом году. Что-то, где жмёшь руку, и это юридически обязывает. Разберусь с деталями, когда будут деньги.

— Ужасающе честно, — сказала Оливия, рисуя это паль-

цем в воздухе.

— Ужасающе самосознательно. Это моё лучшее качество после рук.

— У тебя нет рук, у тебя мнения с костяшками.

— Честер снова всем показывает палец, смотрите, смотрите на него, типично, я прошу — и ничего, Блейк ничего, Кавелли ничего, и вот, видимо, вся моя жизнь…

Ответ Дэйвона пришёл тихо, когда круг дошёл до него, и никого не удивил, и всё равно лёг тяжело.

— Право. Как у папы. — он перевернул телефон экраном вниз на траву, покончив с ним на ночь. — Он говорит, зал суда — единственное место, где тихий человек побеждает. Не нужна громкость, нужны терпение и папка. — его глаза поднялись, один раз обвели круг. — Я хорош в обоих. Можно направить это на что-то.

— Кто-нибудь предупредите преступников Девона, — сказал Джейкоб, и Дэйвон почти улыбнулся.

Круг двинулся дальше, и я почувствовал это раньше, чем оно прибыло, так же, как все чувствовали Джейкоба за мгновение до того, как Джейкоб говорил — маленькую перекалибровку группы вокруг своей самой мягкой несущей стены.

— Бизнес, для меня. — сказал он достаточно легко, обхватив руками колени, глядя на фонарь, а не на кого-то. — Что-то солидное. Недвижимость, может, или то импортное дело, которым папа наполовину владеет. Это не захватывающе. — его пальцы теребили свободную нитку на мешке и

голос оставался ровным в той особой его манере, за которой была целая запертая комната. — Я просто хочу, чтобы дом продолжал идти, правда. Это большой дом для двоих и папа там один, когда я в школе, и ему нужно, не знаю. Шум. Кто-то должен снова построить в нём что-то, стоящее того, чтобы иметь. — нитка обмоталась вокруг его пальца, отпустилась. — Мама бы сошла с ума, если бы этот дом затих насовсем. Элси тоже. Она никогда не переставала говорить, Элси. Завтра четыре года, а я всё ещё иногда открываю входную дверь и жду, что она вывалится из шкафа в прихожей, где пряталась.

Никто не заполнил эту тишину. Никто и не пытался её починить. Дэйвон потянулся через круг и положил одну руку плашмя на лодыжку Джейкоба, держал три секунды, убрал, а рука Лидии с другой стороны нашла рукав Оливии и держала складку.

— В общем. — Джейкоб смотрел, как пламя фонаря делает свой маленький танец, а потом поднял глаза и нашёл, что все мы смотрим в ответ, и рот у него пошёл криво. — Богатый вдовец-барон недвижимости. Подавайте заявки заранее.

— Отклонено, — мгновенно сказала Каталина и круг треснул, напряжение вышло из него так, как выходит задержанный вдох, потому что таков был закон нашей группы: мы могли держать тяжёлую вещь, поставить её и сразу поднять лёгкую.

Джейкоб засмеялся в небо всей грудью, и в тот момент я

подумал: *с ним будет всё в порядке. Кто бы из нас ни оказался в порядке, он будет первым.*

Оливия пошла следующей, и её ответ был самым коротким и самым уверенным.

— Журналист. Настоящий. Расследования. — она села полностью из мешка, подбородок был поднят. — Вещи, которые власть имущие не хотят, чтобы находили. — в ее глазах был тот блеск, который появлялся, когда она об этом говорила. — Кто-то должен записывать, что на самом деле произошло, иначе это становится тем, что говорит самый громкий человек, и я этого не потерплю. Я хотела этого с семи лет. — она указала на всех нас. — И никто из вас не в безопасности. Я знаю, где на этой лужайке закопано каждое тело, и у меня есть дневник с четвёртого класса.

— Расследовательская журналистика, — пробормотал Бэйтс. — Путём шантажа.

— Печатная журналистика, — поправила Оливия. — Путём того, что я права.

Потом круг дошёл до меня, и я посмотрел на фонарь и дал единственный ответ, который был, — тот, что ждал меня с тех пор, как я ещё не умел писать.

— Компания. Папина. — я пожал плечом в это, потому что в факте нет драмы. — Нефть и газ. Это не особенно вопрос выбора. Это наследство, это то, для чего я и я всегда это знал, так что. — мой большой палец теребил пучок травы из лужайки. — Я получу степени, которые они хотят, и

выучу маршруты у него, и однажды вся машина перейдёт ко мне, я буду управлять ею как следует, потому что четыреста семей на её зарплатной ведомости едят, потому что Фриман отвечает на телефон. Вот будущее. Оно было решено до моего рождения.

Я больше почувствовал, чем увидел, как Лидия повернула голову. Грустная улыбка появилась на её лице, пока я ещё говорил, я поймал её краем зрения — маленькую, изогнутую вниз, которая была не для кого-то ещё в круге, ту, которую она носила, когда поднималась машина моей жизни, — и я знал почему, не спрашивая. Она была единственным живым человеком, который знал, что я выбрал бы что-то меньшее. Работу с травой в ней. Футбол, пока колени не сдадут. Она знала, потому что слушала — годами, в полночь, шифром.

— Право, руки, психи, журналистика и нефть, — перебирал Бэйтс. — Мы команда для ограбления. Никто ещё не сказал, так что говорю я.

— А ты тогда кто, — сказала Ливи.

— Говорун.

— Каждому ограблению нужна приманка, — уступила Каталина и оно началось снова, а под прикрытием этого Лидия уткнула подбородок в подтянутые колени, всё ещё нося улыбку, и отдала свой ответ фонарю.

— Я хочу путешествовать. Это первое. Много, везде, по-настоящему, не отпуск. Поезда через страны. — голос у неё стал мечтательным по краям. — И я хочу большой дом.

Нелепый. Полный шума, людей, музыки и сад, который слегка вышел из-под контроля. И дом будет построен для меня, заметьте, моим будущим мужем, по моим спецификациям, вот правило: он строит, я заполняю. — раздался ее тихий смех над собой. — И может быть политология. Мне тоже нравятся системы. Мне нравится знать, кто что двигает и почему. Я была бы хороша в «почему».

— Дом по спецификации, — подкатил Дэйвон, мягкий, как молоко, в паузу, и я скорее почувствовал, чем увидел хитрый угол его головы. — Я сделаю, Уолтер. Первый заказ после юрфака. Большие окна, комната для фортепиано, всё как надо. Считай сделанным.

Что-то прошло сквозь меня, словно холодный сквозняк под дверью.

Это было ничто. Это был Дэйвон, будучи Дэйвоном, сухой и добрый, полусонный, шутка, брошенная всему кругу и моё лицо это знало, и лицо оставалось лёгким, но где-то под спальным мешком челюсть сжалась, хмурость прибыла по собственному расписанию, стягивая брови вниз. Я смотрел, как он улыбается ей своей маленькой улыбкой и вся моя грудь сделала вещь, для которой у меня не было имени и на которую у меня не было права.

— Спокойно, Фриман. — забавно предостерег Джей с дальней стороны круга и он даже не открыл глаз. — Никто ничего не строит. Все на этой лужайке знают, что она твоя девушка.

Сад остановился.

— Я не… — голова Лидии поднялась, заикание было мгновенным и полным, и я сидел посередине этого, не дыша. — Я не его девушка. Это… нет. Фу! Прекратите. У него есть девушка и вы все знаете, что есть, так что можем мы просто… можем все просто… это Ночь дружбы, это буквально в названии…

— Ага, девушка. — Бэйтс приподнялся на одном локте, и в этом не было злобы, с Бэйтсом её никогда не бывало, только вечный аппетит к истории. — Девушка, которую мы ни разу не видели. Ни фото, ни имени, ни появления. Фриман охраняет её как государственную тайну. А я, хочу напомнить этому кругу, его лучший друг. И я её никогда не встречал, и никто не встречал, и она живёт таинственно далеко, и всегда занята именно в день всего, что происходит. — он остановился и весь круг держал свой попкорн. — Я просто говорю вещи. Я наблюдатель вещей.

— Она настоящая, — сказала Лидия в колени, слишком быстро.

— Никто не говорил, что она не настоящая.

— Хорошо. Потому что она есть. Она из Эксетера и она очень закрытая, грубо допрашивать людей о чужих отношениях, это на самом деле грубо, Бэйтс, есть правила…

— Их на самом деле нет, — мягко сказала Каталина, рассматривая ногти. — Я зарабатываю на жизнь тем, что их нарушаю, и мне четырнадцать.

Смех прокатился по кругу и разбил момент, а я сидел внутри собственной тишины, пока это происходило, делая то, что делал уже два года: надевая лёгкое лицо, позволяя её лжи стоять там, в свете фонаря, с моим именем на ней.

Моя девушка. Та, из церкви, в которую я никогда не ходил, с её подозрительно знакомым ростом и фортепиано, и скверным частным нравом. Беатрикс, девушка, которую мой лучший друг ни разу не видел, потому что она была придумана человеком, сидящим ближе всех ко мне на траве, придумана специально, чтобы никто в мире не посмотрел на нас двоих и не увидел то, что там на самом деле было.

И вздох вышел из меня, прежде чем я успел его остановить. Тот вид дыхания, который ничего не значит ни для кого, кто его не слушает, полусекундная утечка давления из сосуда, который был запечатан два года, и я сразу прикрыл его потягиванием, нарочитым зевком, человеком, устраивающимся ко сну, и посмотрел на фонарь, а не на кого-либо.

Она это защищает, — сказал я себе, старую литургию, ту, что проводила меня через каждый такой круг. — *Ложь — это забор. Забор держит мир снаружи. Это она ставит забор и это не её вина, что забор каждый раз проходит прямо через середину меня.*

Никто не поймал вздох. Но Дэйвон, с другой её стороны, на мгновение замер в своей манере, и я скорее почувствовал, чем увидел, как его внимание прошло через круг ко мне и снова ушло — прожектор, сделавший один медленный про-

ход и решивший, сегодня вечером ничего не поделаешь.

А Лидия замолчала на полуслове — какая-то отговорка про эксетерские церкви, — и когда я взглянул, её глаза опустились на траву, а пальцы крутили шнурок худи снова и снова. Я отвёл взгляд и дал ей эту милость, потому что такова была договорённость, потому что дневной свет был её страной, а у меня был только виза.

Разговор после этого умирал медленно, как умирают лагерные разговоры — кусками: чьё-то предложение обрывалось, чей-то смех становился меньше. Оливия ушла первой, свернулась в мешок с блокнотом под подушкой, словно в кобуре. Каталина последовала, бормоча что-то про необходимость косметического сна для суда. Бэйтс заснул на полуслове — какой-то спор с никем — и через четыре минуты уже храпел, и храп запустил свежую рябь приглушённого смеха, на который ни у кого уже не было сил высказаться вслух.

Я потянулся и щёлкнул фонарём.

Тьма легла на лужайку, словно крышка. Хорошая тьма, июньская тьма, тёплая по краям, и небо над изгородью Джейкоба было усыпано звёздами там, куда не доставало городское свечение, а где-то по переулку собака гавкнула дважды и сдалась.

Дыхание Джейкоба выровнялось в длинный медленный ритм мальчика, который спал так же, как делал всё — полностью. Дэйвон продержался дольше, а потом даже его неподвижность изменила качество и сад принадлежал спящим и

нам двоим посередине.

Мы были плечом к плечу. Контакт не прерывался за весь разговор — её рука к моей, тёплая сквозь два худи, — и теперь в темноте это было самым громким, что было на лужайке.

Её рука двинулась.

Под тенью спальных мешков, вне зрения звёзд, вне зрения шести спящих друзей и всего следящего мира, её пальцы пересекли несколько дюймов травы между нами и нашли мои. На этот раз не мизинец. Все. Она вложила руку в мою, ладонь к ладони, и сомкнула хватку и моё сердце сорвалось, как стартовый пистолет, я не пошевелил ни единым мускулом, кроме того, чтобы сомкнуть руку вокруг её ровно так же сильно.

Какое-то время это было всем. Весь разговор, удерживаемый двумя руками в темноте.

Потом она наклонилась. Её волосы скользнули по моему плечу на пути и рот прибыл к моему уху — достаточно близко, чтобы я почувствовал слова раньше, чем услышал их, — тёплые, дрожащие и настроенные на страну, в которую паспорта были только у нас двоих.

— Я солгала.

Моё дыхание остановилось где-то за грудиной и осталось там.

— Я не твоя девушка при дневном свете. — ее шёпот дрогнул и всё равно храбро продолжил. — Мне так жаль.

Мне так жаль, Чес, мне было жаль два года, мне будет жаль вечно, это самая правдивая вещь обо мне. — ещё один вдох от нее, неровный. — Но *я всегда была твоей*. — её рука сильнее сжала мою, словно удерживала нас обоих на земле. — Всегда, всегда — в темноте. В песнях. В каждой-каждой песне. Всё, что я когда-либо посылала тебе в полночь, было правдой, а всё, что я когда-либо говорила в полдень, — ложью, и мне нужно, чтобы ты знал, какая из них настоящая я, потому что настоящая — *твоя* и она была твоей с кладбища.

Ночь вокруг нас держалась абсолютно неподвижной. Бэйтс храпел дальше, ничего не замечая, машина проехала в конце переулка, её фары провели по нам, а я сидел в обломках и чуде этого с её рукой в моей и её дыханием у уха и где-то внутри груди дверь, на которую я опирался два года, открылась внутрь разом и я провалился в комнату, полную всего, чего когда-либо хотел.

— Тогда я буду *существом ночи*, — прошептал я в ответ.

Её голова повернулась у моего плеча. Я почувствовал, как она смотрит на меня в темноте, даже не видя её.

— Скажи ещё раз, — выдохнула она.

— Дневной свет может забрать остальное от меня. Школу, компанию, всё это, каждый час быть нормальным, вежливым и вторым в списке Тины. — я повернул голову на градус, пока её волосы не оказались у рта, пока слова не пошли прямо в них. — Но ночи — наши, Лид. Они всегда были нашими. Полночь, песни и твоя рука. Я возьму темноту. Я бу-

ду существом ночи и буду ждать в ней — столько, сколько темнота будет единственной страной, из которой ты можешь меня достать.

Из неё вышел звук, который ей пришлось проглотить — наполовину смех, наполовину то другое, — и лоб опустился и упёрся в моё плечо, и мы сидели так, рука в руке в руинах договора, пока изгородь, полная спящих птиц, держала за нас вахту.

— С Днём дружбы, Чес. — вырвалось едва шёпотом теперь.

— С Днём дружбы, Лид.

Тишина снова взяла нас и я запоминал всё, как запоминал каждый момент, который имел значение, потому что я знал, что нахожусь внутри одного из несущих.

Запах травы. Россыпь звёзд. Храп Бэйтса, держащий ужасный ритм. Точное давление её руки. Тепло её у всего моего левого бока — словно ответ на вопрос, который я носил с кладбищенской стены. А потом, потому что я был честен до самого дна и потому что два года — долго быть храбрым вежливо, я выпустил последнее.

— Лид. — тихо шепнул я. — Можно я тебя поцелую? Только здесь. — мой большой палец один раз прошёл по её щеке — ближней, той, что лежала к моему плечу, той, тепло которой я чувствовал ещё до того, как рука подтвердила. — В щёку. Больше ничего. Я скучал по ней, вот и всё. Я скучал по твоей щеке и ни разу не имел права сказать об этом.

Она не ответила сразу.

Вместо этого её рука сильнее сжала мою и сквозь ладонь я почувствовал, как сорвался её пульс. Быстрый. Быстрее. Колотящийся ровно так же, как мой, — мы двое подключены к нервным системам друг друга с 2004-го, и сейчас оба бежали, — и я держался абсолютно неподвижно с большим пальцем у края её скулы и позволял её сердцу сказать мне всё, что рот всё ещё был слишком дневным, чтобы произнести.

В темноте я увидел, как она кивнула. Один маленький наклон, больше почувствованный, чем увиденный, лоб оставил моё плечо, лицо повернулось ко мне и глаза поймали далёкий-далёкий край звёздного света и засияли им.

Я наклонился и прижал губы к её щеке.

Медленно. Так, как научился делать всё, что имело значение с ней, — каждый дюйм объявлен, каждая секунда сосчитана. Её кожа была тёплой от спального мешка и пахла травой, улицей и едва, под всем, тем клубничным чем-то, половину которого она съела, а остальное отдала Оливии.

Я держал рот там — одну секунду, две, три, четыре, — и чувствовал, как её дыхание становится рваным у моей челюсти и чувствовал, как её рука сжимает мою достаточно сильно, чтобы было больно, и всё равно остался ещё на одну секунду — пять, — потому что теперь я был существом ночи, а ночь была длинной и наконец, наконец нашей.

Когда я отстранился, её глаза всё ещё были закрыты.

— С Днём дружбы, — прошептал я в маленькое простран-

ство между нами и её улыбка прибыла с закрытыми глазами.

Я откинулся на мешок с нашими всё ещё сцепленными руками и щекой, которая всё ещё несла её тепло, и смотрел, как звёзды делают свою медленную работу над изгородью Джейкоба Блейка.

— Твоя девушка об этом услышит, — прошептала наконец Лидия, глаза всё ещё закрыты, голос уже скользящий ко сну. — Беатрикс. Она очень ревнивая. Территориальная. Это будет целая история.

— Она поймёт. — я натянул край своего спального мешка на наши соединённые руки, пряча улики, сохраняя тепло. — Она очень понимающая и очень терпеливая. Лучшая девушка, которой у меня никогда не было.

— Самая-самая лучшая, — пробормотала она и голова в последний раз нашла моё плечо и осталась там, тяжелея по степеням.

Через десять минут её дыхание стало длинным, медленным и ровным — девочка, спящая на виду у дневного света и под присмотром темноты сразу, рука заперта в моей под мешком, куда весь мир и его правила не могли дотянуться.

Я пробыл в сознании дольше всех них.

Одного за другим я делал обход так, как отец каждую ночь делал дом: ключи в миске, двери все проверены. Бэйтс храпел с открытым ртом. Каталина свернулась яростно, как запятая. Джейкоб спал, выбросив одну руку в пустой воздух, где когда-то спала сестра, и я был бессилен над этим и всё

равно его охранял. Оливия с блокнотом под подушкой. Дэйвон — я смотрел на него долгое мгновение, на мальчика, который научил меня *её* языку, чтобы я мог держать её живой, и которому я был должен долг, который буду платить всю оставшуюся жизнь и никогда не захочу от него освободиться.

И Лидия — на моём плече, в моей руке.

Существо ночи, — подумал я звёздам, переулку, изгороди, где светлячки уже разогревались к лету. — *Это лучшая работа, которую я когда-либо занимал. Часы ужасные, а зарплата — одна щека в год и я отказался бы от всей компании, от танкеров, от каждого маршрута на каждом море, чтобы сохранить эту должность. Дневной свет может забрать, что хочет.*

Темнота — моя и она в ней, и я самый богатый мальчик в Девоне.

ПОКА НЕ СТЕМНЕЛО

Лидия

25 августа 2012 года

Готовиться к собственному дню рождения было всё равно что готовиться к чужой свадьбе и во всей этой конспирации были отпечатки пальцев Лилисии Фриман.

Она приехала к дому в десять утра с чехлом для одежды на руке и выражением лица женщины, проводящей военную операцию. Бросила один взгляд на мой гардероб — сплошь

шорты, выцветшие фестивальные футболки и единственные джинсы, которые я любила до неприличия, — и просто с театральным жестом положила чехол на кровать.

Внутри было летнее платье. Жёлтое, чёрт возьми. Тонкие бретельки, мягкий хлопок, который шевелился вместе с чехлом. То самое, в котором девушки ходят в рекламе пикников, которые никогда не случаются.

— Абсолютно нет, — сказала я ей.

— Абсолютно да. — она уже вытаскивала зеркало из розетки и несла его к окну, ближе к свету. — Тебе пятнадцать, солнышко, и Бэйтс болтает об этом пляжном дне с июня. И ты не будешь встречать пятнадцатилетие в футболке с дыркой на плече, которую, я точно знаю, ты таскаешь с седьмого класса. — её руки легли мне на плечи и развернули к стулу у окна, словно шахматную фигуру. — Одно платье. Один день. Если возненавидишь — вернём, и больше ни слова. Садись.

Ройс был не дома и только поэтому всё это вообще случилось. Дом на короткое время стал девчачьим: радио играло, пахло лаком Лилисии, её ловкие руки собирали мои волосы и закалывали так, что спереди оставались лёгкие прядки. Она работала в тёплом облаке болтовни ни о чём, а я сидела в оконном свете в жёлтом платье и позволяла чужой матери быть матерью для меня. И записывала весь этот час в ту запертую комнату, где я хранила хорошие вещи.

— Вот. — она развернула меня к стеклу и на меня смотрела незнакомка.

Обгоревшие плечи, золотые волосы, собранные вверх, девочка в жёлтом.

— О, Лидия. О, солнышко. Он этого не переживёт, знаешь. — глаза Лилисии встретились с моими в зеркале и сразу стали мягкими и проницательными.

— Кто?

— М-м, — сказала Лилисия Фриман, ещё раз пшикнула лаком на передние прядки, собрала вещи и больше ни словом не обмолвилась об этом за всю дорогу. Потому что она была единственной матерью на земле, которая знала всю историю и ни разу не сказала ни слова.

Эксмут в конце августа — это орущие чайки и жарящиеся семьи. Мамуля Ли провела нас к песку с сумками-холодильниками и ветрозащитой, как генерал, разбивающий базовый лагерь. Объявила, что с двух часов будет в кафе на набережной и всегда на связи, придумала себе поручение в городе на четыре с прозрачностью ангела и оставила семерых подростков и гору подарков на полосатом пледе с целым морем перед ними.

Подарки появились раньше, чем я успела нормально сесть, потому что Бэйтс считал: подарки должны случаться сразу, по прибытии, в атмосфере хаоса.

— Дамы и господа. — он был одет к собственному дню рождения в гавайку такой агрессивности, что чайки держали осторожную дистанцию. Застегнул её неправильно и оставил так из принципа. Солнцезащитные очки носил и в помеще-

нии, и на улице, и в море. — Раз уж у меня тоже день рождения, будем чередовать. Сначала Уолтер, потом я, потому что я щедрый, и это моё лучшее качество после рук.

Первым был Дэйвон. Маленькая, плохо обёрнутая упаковка. Внутри — чистая тетрадь для нот, толстая, с настоящей бумагой и карандаш, привязанный к ней бечёвкой. Без открытки. Одна строчка на первой странице его квадратным почерком: *для пьес, про которые ты врёшь, что они сложные*. Я подняла глаза — он смотрел на море. Положила тетрадь на колени, карандаш сверху, и не доверяла себе говорить. Он это знал, поэтому и смотрел на море.

Джейкоб достал обёрнутый цилиндр и смотрел в сторону, пока я открывала. Ручка. Настоящая, тяжёлая, серебряная, серьёзная. К ней была привязана записка его ровным детективным почерком: *для окопов. Замена. Шариковые ручки этой школы и так натерпелись. Это был тяжёлый месяц для всех нас*.

— Я вообще не понимаю, о чём это, — сказала Каталина.

— Никто ей не показывает, — вклинилась Оливия.

— Согласен, — Джейкоб кивнул.

Я расхохоталась так, что пришлось отложить ручку.

У Оливии был конверт. Внутри — одна напечатанная страница с заголовком **Эксклюзивное интервью**, а ниже, в настоящих газетных колонках, интервью со мной в тридцать лет, которое брала главный редактор Оливия Фейн. В нём я жила в большом доме, объездила всё, что было пере-

числено на странице, и давала цитату про своего долготерпеливого безымянного мужа, которая звучала целиком так: *в большинстве дней он терпим и я держу его ради дверей, которые он придерживает*. Я прочитала три раза, посмотрела на неё — она смотрела поверх очков с удовлетворением профессионала. Я сложила страницу и спрятала в надёжное место, рядом с тетрадью для нот, в запертую комнату, к хорошим вещам.

Каталина протянула маленькую оранжевую книжку под названием **Дневник настроения** с клиническим взглядом и сказала, что это диагностический подарок, что я должна начать немедленно, и что первая запись может быть «отрицание», если хочу — она позволит.

А потом Бэйтс. Его подарок мне был завёрнут в фольгу и формой не походил ни на что на земле. Оказалось — ламинированная карточка на ленте с надписью **VIP-пропуск: Бэйтс Хоккинс. Пожизненный доступ. Возврату не подлежит**, плюс водяной пистолет, который он явно уже зарядил, потому что во время вручения выстрелил мне в ключицу.

— Это величайший подарок, когда-либо данный человеком, — объявил он, пока я вытирала плечо. — Не за что. Теперь мой черёд. Дэйвон, по мне.

Дэйвон дал Бэйтсу свисток — настоящий латунный судейский. Весь пляж смотрел, как мой лучший друг получает власть быть ещё громче. Бэйтс поднял его к небу, как Экс-

калибур и тихо сказал:

— Это лучший день в моей жизни, — он громко дунул.

Проходящая мимо собака сошла с ума.

Джейкоб купил ему книгу карточных фокусов с надписью «выучи четыре, остановись на четырёх». Каталина дала антистрессовый мячик и сказала, что это медицинское. Оливия — распечатанную первую полосу, которую сама сверстала, с заголовком **Местный парень отмечает пятнадцатилетие, все еще громкий**.

У Честера был последний. Маленькая коробка, от которой Бэйтс реально взвизгнул: внутри — набор шуточных золотых зубов. Бэйтс сразу их надел и ходил в них весь день, включая море, включая обед.

Потом я открыла подарок Честера.

Во время всей церемонии он молчал, сидел на краю пледа, обхватив колени, и смотрел, как я открываю всё, с тем самым выражением, которое я знала с трибун по четвергам. Его подарок был обёрнут аккуратно — конечно, аккуратно, ровные углы. Внутри — пластиковый футляр от компакт-диска, а в нём — диск, который он сам записал. На вкладыше его косым почерком, который я узнала бы через весь графство, было название.

Для дневного света.

Ниже — список треков. Четырнадцать песен. И одна строчка в самом низу, мелко, в уголке, куда чужие глаза никогда не заглянут: *тебе надо перестать притворяться, что*

ты существуешь только после полуночи. Это — для полудня. вся моя любовь, Ч.

О, — подумала я, сидя на пляжном пледе в жёлтом платье и держа дневной свет в руках. — *О, ты нечестно дерёшься, Фриман.*

— Дешевле настоящего подарка, — любезно заметил Бэйтс сквозь золотые зубы, заглядывая. — Записал с семейного компа. Я смотрел. Четыре попытки. Честно, четыре. Мы собираем на него деньги.

— Главное — мысль, — улыбнулась Оливия.

— Это пиратство, — фыркнул Джейкоб.

— Это мой день рождения, — возразил Бэйтс, — и всё, что сказано на этом пледе сегодня, юридически защищено. — он снова дунул в свисток.

Мы ели бутерброды и спорили про осень, потому что осень шла на всех нас — годы сдачи экзаменов, листы выбора предметов и великая сортировка, кто что возьмёт и куда упадут парты. Каталина объявила, что выбрала всё смежное с психологией, что только есть, и вызвала школу остановить её. Оливия уже проложила маршрут журналистики через английский и историю, как кампанию. Джейкоб сказал, что возьмёт бизнес и всё, что можно прочитать один раз. Дэйвон — что право это просто история с последствиями, так что возьмёт оба. Бэйтс сказал, что возьмёт всё, что возьмёт Каталина. Каталина швырнула в него виноградину. Он поймал её ртом. Весь плед взорвался.

— А Уолтер, естественно, музыку, — произнес Бэйтс, — и политику, когда её изобретут. А Фриман — что завод в него заложит.

— Химию, математику, физику, — спокойно сказал Честер горизонту.

— Душа поэта, — хохотнул воодушевленно Бэйтс, — расписание бухгалтера. — он лёг на спину, золотые зубы сверкали в небо.

Разговор поплыл дальше без них, потому что где-то посередине к холодильнику был прислонён телефон, подключённый к маленькой колонке, которую Джейкоб получил на Рождество, и плейлист весь день крутил песни всех подряд. А потом очередь дошла до чего-то медленного.

Сначала фортепиано, потом эта гитара — начало *Yellow*. Море продолжало быть морем, весь пляж продолжал жариться и орать, и ничего из этого не имело значения, потому что Честер Фриман встал с пледа.

Он стоял на ветру в футболке, волосы растрёпаны солью, смотрел на меня в жёлтом платье и протянул одну руку ладонью вверх. Слегка поклонился — настоящий поклон, куртуазный и нелепый, — и весь этот спектакль нёсся в его голосе.

— Мисс Уолтер. Мне сказали, что леди из Эксетера сегодня не может быть с нами, и это ужасно для всех, так что раз сама предательница недоступна… — он улыбнулся, осветив всю землю. — Я счёл бы честью всего своего года станцевать с её представительницей.

— Никто не танцует, — отрицательно покачала головой Каталина.

— Кто-то танцует, — вмешался Бэйтс, сев так быстро, что золотые зубы поймали солнце.

Я вложила руку в его, потому что вкладывала руку в руку этого мальчика с тех пор, как ещё не умела нормально писать своё имя. Он поднял меня с пледа на ветер и вся компания за нашей спиной рухнула в хаос.

Бэйтс заявил права на Каталину, раскинув обе руки, перекрывая все пути отступления, объявляя, что именинники по договору составляют пару. Она закатила глаза со скоростью, которая должна была нанести травму, а потом — в самом великом развитии дня — всё-таки положила руки ему на плечи, на максимальном расстоянии вытянутых рук, как будто держала что-то радиоактивное на научной дистанции.

Оливия посмотрела на Джейкоба. Джейкоб посмотрел на море с лицом человека, которого примеряют к ловушке. Потом встал, пробормотал что-то про то, что это нигде не будет запротоколировано, и взял её за локоть с неожиданной нежностью. Они пошли, жёсткие, как две гладильные доски. Оливия говорила всё время, а он слушал — видимо, по-настоящему слушал.

Дэйвон сидел один на пледе, скрестив руки на коленях, и смотрел на нас четверых спокойным лицом, охраняя все добро.

Рука Честера легла мне на талию, моя — на его плечо, по-

тому что, видимо, тело знало позиции, хотя мозг ни разу этого не делал. Мы были ужасны. По-настоящему катастрофичны, как в первый раз. Слишком далеко, потом сталкивались коленями, оба считали под нос. Ветер всё время сдвигал мои заколки вбок. Он вёл нас медленным кругом по плоскому песку у кромки воды. Я смотрела куда-то ему на ключицу, он — куда-то мне над головой.

Море накатывало и откатывалось, а песня говорила: *посмотри на звёзды, посмотри, как они сияют для тебя, и всё, что ты делаешь*.

— Чтобы ты знала, — сказал он мне сверху, тихо, под шум волн, — платье идёт в досье. На самое верхнее место. Выше волос. А волосы держали верх восемь лет, так что ты должна понимать масштаб переворота.

— Честер.

— И досье хотело бы отметить, — продолжал он непреклонно и мягко, — что платье тут ни при чём. День и так был бы для меня тяжёлым, что бы ты ни надела. Он всегда тяжёлый. Тяжёлая — ты, Лид. С той самой живой изгороди в две тысячи четвертом. И я не поменял бы ни одного дня этой тяжести. Пусть Беатрикс забирает Эксетер, а дневной свет — полдень. — его голос упал в тот самый нижний регистр, который был только моим, у которого не было других получателей в мире. — Но я увидел, как ты спускаешься по ступенькам сегодня в жёлтом с собранными волосами, и подумал: ну всё, остаток жизни расписан. Буду вот тут, тихо

сходить с ума каждый раз, когда она позволит.

Румянец вспыхнул, как сигнальная ракета. Я почувствовала, как он поднимается по горлу и захватывает всё лицо бегом — жар от ключиц до линии волос. Я ткнулась лицом ему в плечо, чтобы спрятаться, и стало ещё хуже, потому что плечо пахло солью, солнцезащитным кремом и им. Рука сильнее сжала его, не спросив меня.

Песня продолжала про звёзды, сияющие для всех. Я прижимала пылающее лицо к мальчику на публичном пляже и выдавила один дрожащий смешок, который выдал всё. Над головой я услышала, как он выдохнул — как человек, который держал этот вдох с десяти утра.

Песня кончилась слишком рано и недостаточно скоро.

— Стойте! — голос Бэйтса разорвал пляж, как падающая мачта. — Стойте, стойте, бутылка, мы играем в бутылочку, это традиция, это закон, я только что решил.

Там, и я хочу, чтобы это было зафиксировано для суда, стояла настоящая стеклянная бутылка. Кола, пустая, на полосатом пледе. Бэй-Бэй уже указывал на неё судейским свистком во второй руке, как разбойник, берущий всю компанию в заложники, а его брови были нацелены через плед на меня и Честера с похотливостью, на которую требовалась лицензия.

— Абсолютно нет, — возразила Кат.

— Абсолютно да, — пропищала Лив, уже двигаясь в круг, уже в восторге.

— Это инфантильно, — Каталина закатила глаза, садясь в круг.

— Нет! — Бэйтс сел напротив неё.

И вот они все сидели, скрестив ноги на песке в неровном кольце — пятеро рассаживались со скоростью системы, которая ждала этого весь день и только нуждалась в безумце, который это объявит. Честер сел с одной стороны круга, я — прямо напротив, потому что осталось только два места, а вселенная не отличается тонкостью. Наши глаза встретились через стеклянную бутылку. Его лицо уже розовело, моё уже миновало розовое и шло к финальной форме.

— Правила, — объявил Бэйтс, поднимая бутылку, как реликвию. — По два спина каждому. Поцелуй — в щёку. При всех. Без уклонений, без отговорок, без внезапных поездок в Эксетер. Каталина, как наш дипломированный психолог, ты заверяешь правила?

— Я заверяю, что ты идиот.

— Принято к сведению. Крути.

Первый спин взял Джейкоба и Каталину. Пляж удостоился зрелища, как Джейкоб Блейк наклоняется через круг и ставит самый быстрый, самый торжественный поцелуй в зафиксированной истории на щёку Каталине Голдман, пока она… Влажная салфетка появилась из сумки двумя пальцами. Каталина протёрла затронутую щёку одним медленным, намеренным кругом под взглядами всего круга, сложила салфетку аккуратным квадратиком и убрала, как улику.

— Зафиксировано. Задокументировано. Джейкоб Блейк, ты целуешься как печать. Эффективно, сухо и заканчивается раньше, чем кто-то успеет возразить.

— Не за что, — сказал Джейкоб, уже вернувшийся охранять холодильник, словно предыдущая минута случилась с кем-то другим.

— Это в дневнике, — объявила Оливия, а под всем этим я видела, как она тихо взрывается. — Пляж, двадцать пятое августа. Субъект Дж. совершил договорный контакт губами с щекой субъекта К. Оба выжили. Показания свидетелей варьируются от торжественных до похоронных.

— Сожги дневник, — пробурчала Каталина.

— Дневник — это история.

— Тогда история получит иск.

Круг за кругом шла бутылка, крики чаек, жарящиеся семьи нас игнорировали, и с каждым спином у круга появлялась собственная гравитация. Джейкоб крутил, как человек, заполняющий бумажки, дал стеклу скучный щелчок — бутылка сделала два оборота и остановилась мёртво на Оливии. Весь пляж увидел, как Оливия Фейн с огромной церемонией снимает очки, объявляет «для протокола» никому в частности и подставляет щёку, одновременно комментируя собственный опыт в реальном времени. Джейкоб наклонился, чмокнул на скорости и вернулся на место, прежде чем она закончила предложение.

— Он пах солнцезащитным кремом и обидами, — доло-

жила она, строча. — Пойдёт как очеловечивающая деталь.

— Мы закончили, — сказал Джейкоб.

Её спин полз по кругу длинной качающейся дугой и остановился на Дэйвоне. Пляж затаил дыхание, потому что поцеловать Дэйвона Кавелли считалось примерно тем же, что поцеловать памятник. Оливия чмокнула его в щёку на почтительном расстоянии. Дэйвон не моргнул. Когда операция завершилась, он повернул голову, серьёзно её рассмотрел и вынес вердикт.

— Адекватно.

— Он даже не моргнул, — восторженно выдавил Бэйтс, вцепившись в песок. — Никто не бывает таким спокойным. Я видел его спокойным и это за пределами спокойного.

Спин Дэйвона пришёлся на Каталину. Он пересёк круг без спешки, поцеловал её щёку с точностью, которой следовало бы учить в школах, и вернулся на место. А Каталина, к вечному скандалу всех присутствующих, не достала влажную салфетку.

— Ты протёрла Джейкоба, — пробубнел Бэйтс, преданный до мозга костей. — Ты провела полную дезинфекцию Джейкоба, а Дэйвон получает пропуск?

— Контроль качества, — Кат принялась разглядывать свои ногти, будто нашла что-то интересное. — Стандарты разные.

Потом очередь Бэйтса. Он устроил целый ритуал: зажмурился, поднял руки, шептал *«Голдман, Голдман, Голдман»*

небу, как человек у алтаря, и дал бутылке самый театральный спин в истории игры. Она ехала, ехала, замедлялась… и остановилась на Джейкобе.

— Нет! — заорал Джейкоб.

— Правила есть правила, — мгновенно и радостно сказала Каталина.

— Ты заверила правила. Ты ими связана. Переделай, Голдман.

Во имя королевы и страны Бэйтс сначала снял золотые зубы, подняв их *(«гигиена, все, я профессионал»)*, потом наклонился через песок и торжественно поцеловал Джейкоба Блейка в щёку, пока тот смотрел в среднюю дистанцию лицом человека, планирующего переехать в другой город.

— Никогда об этом не говорить, — вздохнул Джейкоб.

— Это в дневнике, — прохихикала Оливия.

— Тогда это история, — сказал Бэйтс, вытирая рот, в восторге, — и история запомнит меня как храбреца.

Каталина крутила, чтобы поскорее отбыть собственный срок. Бутылка долго умирала качанием и приземлилась на меня. Она перешла круг и поцеловала мою щёку быстрым клиническим движением — как медсестра, делающая укол, — и по пути обратно объявила: «*Контрольный образец, наука продвигается*». Круг засмеялся. Бутылка стояла посреди пледа, остывая на ветру.

Моя очередь.

Тишина особого рода. Разговоры не прекратились, но упа-

ли на регистр ниже. Шестеро вдруг очень заинтересовались серединой пледа. У холодильника я слышала, как Бэйтс шепчет «*пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста*» — настоящая молитва, руки сложены, золотые зубы снова на месте.

Я потянулась и крутанула.

Стекло по песку создаёт свою маленькую вечность. Бутылка прошла мимо Джейкоба, мимо Оливии. Я смотрела на неё так, как смотрят на дверь, которую тебе нельзя открывать. Она замедлилась у Дэйвона — все выдохнули, — поползла мимо Каталины, пока Бэйтс издавал звук медленно сдувающегося шарика… и остановилась.

На Честере.

Горлышком прямо на его колени. Бесспорно. Чайки продолжали, море продолжало, круг вокруг бутылки стал абсолютно неподвижным. Потом Бэйтс упал назад с сидячих костей в песок с визгом, рассчитанным исключительно на собак, и заклинание сломалось в хаос, удерживаемый шёпотом. Пять голов тянулись к нему, ко мне, к нам.

— Ну-ну, — произнесла Кат, скрестив руки.

— Я говорил, — плоско сказал Джейкоб горизонту. — Три года назад.

Через круг Честер сидел, уши переходили из розового в тот оттенок красного, который я раньше видела только на почтовом ящике у магазина. Бэйтс уже снова вскочил на ноги, чтобы судить, свисток в одном кулаке, другая рука поднята, пьяный от власти и солнца.

— Правила, — объявил он голосом стадиона, при этом каким-то образом всё ещё шепотом. — Обе стороны. Щека. При свидетелях. Без исключений, без апелляций и абсолютно никаких внезапных поездок в Эксетер.

— Бэйтс, — хрипло сказал Честер.

— Лучший друг. — золотые зубы Бэй-Бэя поймали солнце. — Иди.

Он встал. Не пошёл длинным путём, а пришёл прямо через середину круга на коленях, будто бутылки вообще не было. Круг снова замолчал по-настоящему, той тишиной, которую мы умели только случайно. Он остановился передо мной, близко, рубашка жёсткая от соли, волосы растрёпаны ветром, веснушка над бровью — вся география его, которую я изучала с тех пор, как ещё не умела писать. Краем глаза я увидела, как перо Оливии зависло над страницей, неподвижное, забытое.

— С днём рождения, Лидия.

Полное имя. Весь круг услышал, как это легло. И весь круг затих способом, который уже не имел отношения к игре.

Его рука поднялась медленно, видимо, так, как научилась делать всё со мной. Кончики пальцев коснулись моей челюсти, повернув лицо на градус к нему. Я увидела, как его глаза один раз пробежали по кругу и вернулись ко мне с вопросом. Тем же вопросом, что в бассейне два года назад, только теперь одетым в игру, спрятанным при ярком дневном свете, где, как я ему говорила, ничто не может спрятаться.

Это законно, — подумала я, кружась. *— Вот что сделала бутылка. Она сделала это законным. Впервые с августа два года назад появилась версия, которую дневной свет позволяет. И он спрашивает, возьму ли я её.*

Я замерла. Согласие в нашей стране — это замереть.

Честер Фриман наклонился передо мной при шести ближайших друзьях, на солёном ветру, днём, и прижал губы к моей щеке. И он сделал это не так, как Джейкоб целовал Каталину. Не как печать. Он опустил рот ровно на то место под скулой, которое целовал однажды в саду в полночь и однажды под дождём в четырнадцать, и остался.

Одну секунду. Две. Три. Я услышала, как Бэйтс издаёт звук, будто где-то позади убивают чайник. Четыре. Море продолжало накатывать и откатываться, будто не знало, что мир остановился. Пять. Его дыхание было неровным на моей коже, моё — на его челюсти. Два подростковых пульса молотили перед свидетелями. Где-то посередине моя рука сама поднялась с колена и схватила горсть песка, чтобы не сделать ничего, чего нельзя будет взять обратно.

Шесть. Он отстранился.

Круг взорвался шёпотом — всё сразу. Все наклонялись ко всем. Каталина на ногах. Оливия пишет со скоростью, опасной для страницы. Джейкоб лежит навзничь в песке, рука на глазах, как человек, чья трёхлетняя теория только что была заверена бутылкой из-под газировки. А Бэйтс — Бэйтс с обеими руками в собственных волосах, золотые зубы за-

быты, шепчет: «*Шесть секунд, я считал, шесть, печать получила полсекунды, я засекал, кто-нибудь запишите, что я засекал*». И Дэйвон, на самом краю, смотрит на нас двоих, скрестив руки на коленях, и самый маленький кивок, который я у него когда-либо видела.

— Взаимность! — Бэйтс оправился в режим высокого суда, обе руки вверх, свисток поднят, как посох. — Правила есть правила, Уолтер, круг — ничто без своих правил, обе стороны, щека, при всех свидетелях!

— Это правило касается меня, — сказала я, и голос вышел на октаву неверно.

— Ты крутила. Ты попала. Обе стороны целуют. Это симметрично, Голдман заверила, иди.

В ногах были иголки от сидения. Это было моё оправдание, и я всё равно пошла через круг на коленях. Песок впечатывался в ладони, жёлтое платье собирало соль. Пока не опустилась перед ним так же, как он передо мной. Я подняла глаза, потому что он был высоким даже на коленях, потому что будет высоким и в девяносто. Его уши пылали. Глаза стали широкими, яркими, одновременно испуганными и полными надежды. Пятнадцать лет и он замер абсолютно, теперь уже он — застывший, отдавая согласие единственным способом, который наша страна позволяла.

Я поцеловала его щёку.

Под скулой, то же место, зеркальное. Я услышала, как дыхание вошло в него и остановилось. И я осталась. Одну се-

кунду, пробуя соль, солнце и призрак его мыла. Две — его плечо поднялось на дюйм под моей рукой; я не знала, что рука уже на его плече, она ушла туда без согласования с руководством, *предательница*. Три — круг перестал существовать, блокнот перестал, свисток, чайки, весь ревущий, жарящийся пляж.

Осталось только тепло его кожи, его задержанное дыхание и моё сердце, бьющееся, как прилив о стену. Четыре. Пять. Я поняла, отстранённо, научно, что не я буду той, кто остановится первой. Что я останусь здесь, пока море не заберёт плед, пока кто-нибудь физически меня не утащит. Потому что у меня было два года полуночи, которые нужно было отдать, и это была первая законная валюта, которую мне когда-либо вручили.

На шестой он издал звук.

Маленький, беспомощный, наполовину смешок, наполовину что-то без имени. Вытолкнутый через нос, потому что рот держал неподвижность. И это меня разрушило. Я наконец отстранилась. Мы стояли на коленях посреди круга перед всеми, оба багровые, оба дышали, будто сделали упражнение с перекладиной, и никто из нас больше никуда в целом мире не смотрел.

— Вот оно! — завопил Бэйтс так, что семья из четырёх человек вышла из мелководья поглазеть. — Шесть и шесть. Симметрия. Голдман, ты это фиксируешь? Данные прекрасны!

— Сядь, пока тебя не арестовали, — сказала Каталина, но тоже смотрела на нас, руки скрещены и что-то в клиническом лице смягчилось в одном уголке. — И да. Фиксирую.

— Засвидетельствовано, — слабо выдавила Оливия, ручка всё ещё двигалась. — Всё. Оба случая. Я уже нарисовала схемы.

Джейкоб сел из песка, с великой церемонией отряхнулся, снял ракушку с локтя и посмотрел через круг на Честера самым мёртвым, самым сухим, самым «*я-три-года-был-прав*» выражением, когда-либо собранным на подростковом лице.

— Беатрикс будет в отчаянии, — сказал он.

Весь круг взревел. Это был предохранительный клапан, именно то, что нужно было моменту. Я смеялась вместе с ними — высоко, ярко, слегка невменяемо, лицо горело. А Честер, стоя на коленях напротив, провёл рукой по лицу и достаточно оправился, чтобы включить корпоративный голос.

— Она очень понимающая, — он прочистил горло. — В духовном смысле. Она бы хотела, чтобы правила были соблюдены.

— Она бы хотела правила, — повторил Бэйтс благоговейно. — Девушка из Эксетера. Покровительница этого круга. Боже, представить, какая она спокойная.

Представить, — подумала я, глядя на мальчика через песок, на его разрушенное самообладание, красные уши и отпечаток моего рта, всё ещё тёплый на его щеке. — *Представить, что ты — она. Представить, какая ты спокойная. Я*

изобрела её из кухонного стола и лжи, а она получает кредит за шесть секунд, на которых я буду жить до Рождества.

Игра после этого не выжила. Ничто не могло последовать. Все это знали. Бэйтс объявил бутылку вышедшей в отставку — действительно в отставку, отнёс к краю пледа и положил с полными почестями «*за заслуги перед правдой*». Потом кто-то кинул в кого-то водяной пистолет, и через две минуты вся компания рухнула в море.

Послеполуденное время стало золотым по краям, как это бывает в Эксмуте. Бэй-Бэй ходил в золотых зубах в воду и дудел свистком в волны, которые, по его мнению, не проявили уважения. Джейкоб стоял в мелководье по колено, штаны закатаны, из принципа отказываясь идти дальше, получил удар волной и промок до подбородка — его крик чистого предательства был самой смешной вещью, которую мы слышали за весь год. Оливия проводила на песке прощальные интервью одного за другим для материала, который, по её словам, был сезонным. Каталина читала свой оранжевый дневник настроения и иногда поднимала глаза на Бэйтса, барахтающегося в прибое, что-то записывала, ловила мой взгляд и с большим достоинством закрывала книжку.

А я сушилась на пледе в последних лучах солнца, волосы сползали из заколок солёными прядями. Дэйвон подошёл и сел рядом, тихий, как мебель. Какое-то время никто из нас ничего не говорил — говорило море. Потом он сказал,

не глядя на меня, тем низким неспешным голосом, которым уже сто раз спускал меня с уступов:

— Шесть секунд.

— Так они говорят.

— Двенадцать в сумме. — он скрестил руки на коленях. — Долго. При людях. Днём. — он остановился, пауза достаточно длинная, чтобы у кого угодно другого это был целый абзац. — Ты не выглядела как девочка, которая делает это ради игры.

Где-то позади вода орала на Бэйтса. Я подтянула колени под полотенце и посмотрела на горизонт. Глаза защипало, и это была не соль.

— Нет, — признала я наконец. — Полагаю, не выглядела.

— М-м. — он кивнул один раз, медленно — судейский кивок. Потом наконец повернул голову и посмотрел на меня прямо. В лице не было ничего, кроме старой устойчивой доброты — доброты скамейки на сером дворе, — а под ней одно ясное предупреждение, выданное мягко, потому что Дэйвон любил нас обоих.

— Темнота была безопасной, Уолтер. Темнота была твоей, никто не мог её тронуть. Дневной свет — другая страна. В нём вещи становятся видимыми. — он встал, взял угол пледа, стряхнул песок. — Кстати, красивое платье. — его последние слова пришли через плечо вместе со свистком и чайками. — Он заметил. Все заметили. Добро пожаловать в дневной свет.

Лилисия вернулась в шесть с машиной, пустыми пакетами из магазина и лицом полной невинности. Оглядела сцену: семеро облепленных солью мародёров, одна отставленная бутылка, лежащая в состоянии, её сын, стоящий в мелководье с видом мальчика, который увидел видение, и я в жёлтом платье, полном песка, с ртом, делающим что-то, чего он не делал по дороге сюда.

— Ну что, — сказала она, загружая холодильник, бодро как всегда. — Хороший день рождения?

— Лучший, — ответил Бэйтс, выжимая рубашку. — Исторический. Были события. Миссис Фриман, ваш сын…

— Звучит чудесно, — перебила его Лилисия на весь голос, уже неся сумки в багажник, — и мне не нужно слышать ни слова, что бы это ни было, оно остаётся на этом пляже, это пляжный закон. — она поймала мой взгляд через заднюю дверь, когда говорила это — одна мать одной девочке.

Это был второй раз за день, когда кто-то прикрыл меня, не спрашивая. Я положила это в запертую комнату вместе со всем остальным.

Честер сидел на заднем сиденье рядом со мной всю дорогу домой. Не касаясь. Его колено в дюйме от моего. Оба смотрели в свои окна, пока Бэйтс рассказывал день переднему сиденью, Оливия его поправляла, а Каталина судилась. Где-то за заправкой наверху города, в темноте задних сидений, вне радара всей машины, мизинец Чеса нашёл мой на сиденье между нами и зацепился и держал всю оставшуюся до-

рогу. Я смотрела, как проплывают дома и ни разу нормально не дышала. И не нужно было.

У моих ворот машина остановилась. Зажёгся свет в салоне. Мы расцепились, как профессионалы. Я собрала платье, тетрадь для нот, оранжевый дневник и своё достоинство, вышла, обернулась у калитки. Последнее, что я увидела, через заднее стекло: золотые волосы и одна поднятая рука, которую он держал в воздухе, будто ещё не знал, как её опустить. А за ним, безошибочно в стекле — Бэйтс, беззвучно говорящий мне «*шесть секунд*» золотыми зубами.

Дом сделал то, что дом делает. Я сделала то, что делаю. Рукава, тишина, смена караула у двери спальни, весь аппарат. Сегодня это ничего мне не стоило — ничего, потому что у меня был карман, полный дневного света, и дом не мог его обложить налогом.

В одиннадцать, в постели, в темноте, я вставила его подарок в маленький плеер на тумбочке.

Для дневного света, — гласил вкладыш косым почерком. Четырнадцать песен. Я включила с начала, наушники в ушах, громкость низкая, и лежала, проходя через них. Это была история нас в чужой музыке.

Here Comes the Sun — третья. *Yellow* — пятая. *Mr. Brightside* — девятая, и я засмеялась в подушку всей грудью, настоящими тихими слезами, потому что он сохранил это — и шутку, и разбитое сердце, положил их рядом, где они всегда жили. Двенадцатый трек был *Truly Madly Deeply*, и я ле-

жала через него с ладонью на грудине, держа двери, держа всё внутри. А последний, четырнадцатый, был тот, которого я не знала — старый, мужчина и гитара. Я подтянула вкладыш ближе к уличному свету через занавеску и снова прочитала записку.

Тебе надо перестать притворяться, что ты существуешь только после полуночи. Это — для полудня. Вся моя любовь, Ч.

В одиннадцать пятьдесят телефон засветился.

Новый плейлист — гласило уведомление от него. Название из четырёх слов. Я прижала руку ко рту, ещё не открыв.

Шесть при дневном свете.

Одна песня внутри. Я включила — та самая с пляжа, танец, звёзды, сияющие для всех. Я лежала в своём тёмном доме с привкусом соли где-то в горле и плакала по-домашнему — молча, боком. Потом взяла телефон, сделала свой, долго думала и набрала название дрожащими большими пальцами.

Двенадцать теперь. Оба раза.

Одна песня — та, что была четырнадцатым треком его диска, последняя, мужчина и гитара, — отправленная ему обратно, как эхо, возвращающее сигнал. А под песней, в описании плейлиста, куда никто в мире не смотрит, я набрала ещё шесть слов и нажала сохранить.

С днём, создание ночи.

Внизу скрипнула половица, затихла, скрипнула снова. Я положила телефон экраном вниз на грудь и устроила дыха-

ние под сон, пока сердце билось, как прилив. А снаружи, в тёплом чистом доме, мальчик читал моё описание. Я знала, что он читает, так же, как знала положение собственных рук.

Ты считал, — сказала я ему через темноту, через всё, что стояло между полуночью и полуднем. — *Шесть и шесть, ты считал, ты запишешь это куда-нибудь, понесёшь это число до девяноста. Так понеси и это тоже, Фриман, это настоящий итог: всё. Каждый вдох, каждую секунду, дневной свет, темноту, всё это — с той живой изгороди. Ты уже несёшь.*

Ты уже несёшь.

ТЕБЯ
Честер
26 ноября 2012 года

Дорога от последнего урока до петли для высадки занимала четыре минуты, а за нами шла толпа и к ноябрю эти четверо превратили её в театр.

— Посмотрите на них, — объявил Бэйтс парковке, небу и уходящей толпе одиннадцатых классов, которые уже давно перестали удивляться чему бы то ни было, что наша компания делала по пути. — Посмотрите, все. Держатся за руки, при дневном свете, в ноябре. Без объяснений, без объявлений, без церемоний. Три месяца этого — и ни одного заявления для прессы.

— Прессы нет, — вздохнул Джейкоб.

— Я и есть пресса, — возразила Оливия.

— Ты дневниковница, это другое, — тут же отразил выпад Джей. — Пресса проверяет факты.

— В дневнике всё проверено. У меня есть даты и есть пляж. У меня есть шесть секунд, которые отсчитал независимый свидетель на своих часах и с тех пор ни разу не перестал об этом напоминать.

— Это было шесть, — подтвердил независимый свидетель в лице Бэйтса с задних рядов. — Я потом засекал для сравнения. Салюты. Серию пенальти. Ничто даже близко не подошло.

Впереди рука Лидии лежала в моей, тёплая сквозь два слоя рукава и перчатки, и она закатила глаза так сильно, что я услышал это сквозь её череп, и я закатил свои в ту же секунду, в том же направлении, а позади нас галёрка издала звук толпы, которой дали ровно то, за что она заплатила.

— Синхронные закатывания глаз, — прошептал Бэйтс на весь зал. — Синхронные. Джейкоб, ты это фиксируешь?

— Я это терплю.

— И ещё кое-что. — Бэйтс удлинил шаг, пока не поравнялся с нами, идя задом наперёд, рюкзак на одном плече, дыхание клубилось на холоде. — Я хочу, чтобы это было зафиксировано: я скучаю по ней. По Беатрикс. По подруге из Эксетера. Её отняли у нас слишком рано и никто по ней как следует не горевал, а я, её величайший сторонник, даже не успел попрощаться.

— Её никогда не существовало, — засмеялась Оливия, поправляя волосы.

— Она существовала здесь. — его кулак прижался к собственному сердцу с торжественностью. — И это просто жалко, вот что я хочу сказать. Мальчик и девочка держатся за руки при дневном свете, одна воображаемая подруга мертва и похоронена, а мне никто не говорит, каково настоящее устройство. Я его лучший друг. Я заслужил правду.

— Правда, — вмешался Дэйвон с самого конца в тоне человека, закрывающего картотечный шкаф, — тебя не касается.

— Спасибо, — сказала Лидия через плечо, сжала мою руку и на этом весь обмен закончился.

Мы шли дальше сквозь холод, а четверо за нами препирались, как съёмочная группа документального фильма, и я держал её руку и молчал, потому что молчание стало моей высшей дисциплиной.

Вот что никто ни разу не сказал вслух за три месяца дневного света: кем мы были.

Мы теперь держались за руки в школе. Это случилось само собой, как наступает осень — градус за градусом, пока однажды утром в конце сентября её пальцы просто не взяли мои у ворот на глазах у шестидесяти человек, и никто ничего не сказал, кроме Бэйтса, который комментировал это неделю.

Она приходила на каждый четверговый матч, смотрела на

номер одиннадцать и говорила людям, что ради табло. Мне достались шесть секунд на пляже в августе и рука в лагере в июне, и песни в полночь на коде, который умели читать двое живых людей, а ей — весь я.

Весь двигатель, ожидание, терпение мальчика, который превратил умение стоять на месте в профессию. Никто не спрашивал её, что это такое. Я ни разу не спросил, потому что знал форму ответа — чувствовал её края уже годы. Лучший друг при дневном свете. Её — в темноте.

Френдзона — страна без пограничных постов и у меня был пожизненный визовый режим и никакого паспорта, и некоторые ночи я лежал в постели и перебирал свои владения, как человек, считающий монеты в темноте, и каждый раз сумма выходила одна и та же.

Огромная. Неофициальная.

— Ты мог бы спросить, — сказал мне однажды Джейкоб в октябре тем плоским тоном, которым произносил всё важное. — Ты мог бы просто спросить её, кто вы друг другу.

— Мог бы, — ответил я. — И она ответит, потому что у неё всегда готова следующая реплика. И какой бы ни была эта реплика, рука всё равно будет в моей в понедельник — или не будет. Я лучше возьму руку.

Парковка делала своё ежедневное рассредоточение. Рукопожатия прошли по кругу среди парней — правильные, крепкие, тот хват, который Джейкоб решил, что мы все делаем с восьмого класса и от которого никто так и не сумел

отказаться.

Оливия обняла всех на скорости, как филателист, проштамповывающий коллекцию. Бэйтс попытался сложное рукопожатие-похлопывание по плечу с Дэйвоном, которое, как всегда, закончилось тем, что Дэйвон стоял неподвижно, а Бэйтс исполнял обе половины в одиночку.

Потом двери, двигатели, хореография четырёх машин с четырьмя водителями: сначала седан мистера Кавелли, потом машина Блейков, потом машина Оливии — и шум толпы утекал вниз по переулку кусками, пока не остались только мы двое у нашей машины на холоде, ожидая, пока Гаррик закончит свой кроссворд и откроет двери — как он делал каждый день, принципиально, в одном и том же темпе.

Взгляд Лидии ушёл куда-то.

Я смотрел, как это происходит, потому что всегда смотрел — это была моя самая старая работа. Её глаза соскользнули с моих и зафиксировались на точке где-то над изгородью, за машинами, в средней дали, и это был не тот взгляд — не фортепианный, не тот, что шёл со схемой. Это был другой. Плоский. Тот, который она носила, как пальто, когда под ним происходило что-то тяжёлое, и её рука в моей стала вялой: всё ещё держала, но уже не держалась.

Я положил ладонь ей на щёку.

— Эй, — сказал я и повернул её лицо к себе по градусам, мягко, самой старой хореографией, какая у нас была. — Вернись. Вернись сюда, ко мне.

Она моргнула.

Медленно, как всплывая. Глаза снова сфокусировались на моих и приземлились, и я смотрел, как она возвращается на парковку оттуда, где была, и что-то прошло по её лицу при виде моей руки на щеке — мягкое, удивлённое, то удивление, которое она всё ещё испытывала после всего, что забота бесплатна.

— Прости. — Лид чуть выпрямилась. — Я думала. Далеко ушла. Что ты говорил?

— Я ничего не говорил. В том-то и дело. — мой большой палец один раз провёл по её скуле и кожа под ним была горячей, заметно горячей. — У тебя щёки розовые. — я нахмурился, сам того не желая. — Даже больше, чем розовые. Ты хорошо себя чувствуешь?

— Я в порядке. — она убрала лицо из моей руки с коротким смешком, натянула шарф и отбила атаку, как профессионал. — Это холод. И этот свитер, он термо, я в нём киплю, вот и всё. Честно, Чес, ты хуже своей мамы. — а потом скользящим тоном, которым она произносила то, что решила десять минут назад в другой комнате, она добавила: — Можно я останусь у вас сегодня?

Я посмотрел на неё: розовые щёки, глаза, ушедшие вдаль, вялая хватка, вся эта осторожная архитектура девочки, которая устраивает так, чтобы не идти домой, и я знал, что причина есть, как всегда знал, и знал, что причины мне никогда не дадут, как никогда не давали, и сжал её руку — один

жёсткий нажим всего, что у меня было.

— Твоя комната всегда тебя ждёт, — кивнул я. — Ты это знаешь. Она твоя годами. Кровать, фортепианный уголок, ужасные шторы, которые мама не меняет, потому что ты их выбирала. Тебе даже не нужно спрашивать. Ты никогда не должна была спрашивать.

— Спасибо, — прошептала она тихо, скорее моему воротнику, чем лицу.

Гаррик наконец сложил кроссворд, открыл двери электронным писком человека, завершающего ритуал, и мы сели на заднее сиденье, и ко второму повороту из переулка её голова лежала у меня на плече — то, что она отрицала бы в школе и делала каждую неделю, — и я сидел очень неподвижно под этим весом и смотрел, как проплывают дома, и тепло шло от её макушки сквозь мой рукав, и моя тревога перешла из «отложено» в «активно».

Дом принял нас со всеми включёнными огнями. Мама встретила нас в холле, ещё до того, как дверь успела полностью закрыться, а значит, она смотрела на подъезд из кухонного окна с того момента, как машина свернула, а значит, она планировала еду, что было её языком любви после тревоги и впереди обоих официальных конкурентов.

— Вот и она. — руки мамы легли на лицо Лидии, повернули его к свету в холле. — Вот моя малышка Ли. Посмотри на тебя, уже совсем большая, я по тебе скучала, ты пряталась в этой своей школе неделями. — она поцеловала обе

щёки — слева, справа, полный церемониал. — Остаёшься на ужин? Остаёшься на ужин, я решила, у меня уже слишком много пасты, она вышла из меня, как в той сцене с учеником чародея, никто не виноват, заходите, заходите, ботинки снимайте.

— Мам.

— Ботинки снимайте, оба, это дом, а не сарай.

Ботинки сдались коврику и мама погнала нас на кухню, держа руку у каждого на спине, ещё до того, как часы в холле успели пробить четыре, комментируя весь переход.

— Паста готова, в хорошей кастрюле, я положила базилик в конце, как говорил тот телевизионный дядька, и весь дом пахнет, как реклама, так что сначала едим, а домашку — никогда, это политика Фриманов в вечера с гостями. — пауза в дверном проёме, пока она снова рассматривала Лидию. — Ты бледная, милая. Бледная под розовым. Ты уверена, что всё в порядке?

— Она в термо, — сказал я, прежде чем Лидия успела что-нибудь развернуть. — Её свитер термо. Она сказала.

— Никто не термо на моей кухне в ноябре. — мама указала на скамью. — Садитесь. Оба. Плечо к плечу, как вы едите с девяти лет, я уже сдалась вас разделять, прошло столько лет, война окончена.

Скамья приняла нас так же, как принимала во всех размерах, какими мы когда-либо были, миски спустились дымящиеся и какое-то время на кухне были только вилки, шум

и мама, сновавшая между кастрюлями, а радио бормотало что-то из девяностых и я ел как лошадь — так требовала тренировка, — и сначала ничего не замечал, потому что не смотрел.

Только я смотрел. Я всегда смотрел. В этом и была вся моя беда.

Её вилка двигалась. Ригатони медленно кружили по миске, преследуемые, никогда не пойманные; один кусок пасты разрезали пополам, потом на четвертинки, потом на восьмушки — девочка превращала ужин в конфетти на молекулярном уровне, держа вилку как реквизит.

Под кухонным светом тени под глазами вышли из укрытия — фиолетовые, размазанные, минимум двух ночей глубиной, — и я сидел рядом и делал ту математику, от которой отказывался с восьми двадцати утра, когда она встретила меня на углу с шарфом до носа и консилером, творившим чудеса. Я уже тогда заметил тени сквозь шарф, сквозь всё, и ничего не сказал, потому что сказать на углу значило бы получить представление, а я хотел увидеть, что даст кухня.

Кухня дала мне конфетти-пасту и девочку, чьи ответы приходили с опозданием на полсекунды.

— Соус бабушки, — говорила мама у плиты, ничего не замечая. — Тот, со секретом, которого нет, секрета нет, только масло и терпение, а все думают, что алхимия. Лидия, милая, это паста? Слишком много базилика? Ты от неё отказалась, ты бы сказала.

— Всё чудесно, мамуля Ли. — ее улыбка появилась, хорошая, витринная, и сердце у меня упало, глядя на неё, потому что я изучал эту улыбку с семи лет и знал все её версии, а это была та, с несущими стенами. — Честно. Я просто сегодня не голодная. Большой обед. Школьные чипсы.

— Школьные чипсы, — повторила мама тоном женщины, вырастившей мальчика и точно знавшей, чего стоят школьные чипсы. — Ох. — она подошла и коснулась тыльной стороной ладони лба Лидии мимоходом, буднично, как закрывая шкафчик, остановилась и сделала это снова, и всё её лицо изменилось. — Ох, милая, ты горячая, как буханка.

— Она в термо, — сказал я и даже сам услышал, как глупо это теперь звучит.

— Рука мамы говорит минимум тридцать восемь, а рука мамы тебя вырастила. — ее полотенце шлёпнулось на столешницу, голос взлетел в сторону холла. — Всё, ужин окончен, в постель. Я сейчас же звоню твоему отцу и говорю, что его дочь остаётся у Фриманов на ночь и с ней что-то, и пусть мэр разбирается со мной напрямую, если у него есть мнение.

— Он в Лондоне. — ответ вылетел из Лидии быстро. — Конференция. — ее вилка замерла над конфетти и глаза впервые за десять минут поднялись от миски. — Он уехал вчера утром, вернётся только в пятницу. Нет смысла звонить, он выключает телефон на сессиях, весь день панели и всё такое. — она вздохнула и витринная улыбка снова выкатилась для мамы. — Честно, всё нормально, даже лучше,

чем нормально, он бы только волновался, а волноваться не о чем. Наверное, подхватила заразу с дверной ручки. Дети статистически грязные.

Мама посмотрела на неё так, как смотрела на меня, когда я утверждал, что учил, — долгим, любящим, совершенно неубеждённым осмотром, — а потом сделала то, что всегда делала с Лидией, то, что я наблюдал уже десять лет: отпустила.

Не потому, что поверила. Потому что много лет назад, на каком-то кухонном саммите, о котором мне никогда не рассказывали, она решила, что этот дом будет местом, где ничего не выпытывают, что девочку, которая к ним приходит, будут кормить, греть и ни о чём не спрашивать, и она держала этот договор. Здесь Лидия могла дышать.

— Тогда Лондон может пропустить все новости, сколько захочет. — полотенце снова легло на плечо мамы. — А значит, всё просто. Ты моя как минимум до среды и у меня в шкафу вся аптека цивилизации. Суп, таблетки, термометр — полный набор. Вверх по лестнице, юная леди, твоя комната застелена, она всегда застелена, ты это знаешь, а я принесу жидкости, как в больничной драме.

Лестница приняла нас медленно. Её рука нашла перила, потом мой рукав и я шёл на полшага ниже, на уровне её плеча, доступный, и к верхней площадке её вес уже чуть опирался на меня, а тепло шло сквозь два слоя одежды, как радиатор сквозь стену.

Её комната была в конце коридора, третья дверь, и она была её — в том смысле, в каком комнаты принадлежат людям, которые в них не живут. Кровать под окном, как всегда свежезастеленная. Маленькая клавиатура у стены — подарок папы на одно Рождество, на которой она выучила половину своего репертуара.

Полка с её археологией: резинки для волос, зубная щётка в стакане и три бумажные книги в разных стадиях дезертирства из её собственного дома, а на столбике кровати висела моя старая серая толстовка, украденная у меня в двенадцать — ни разу ни один из нас об этом не упомянул. Шторы были шторы. Синие, в звёзды, выбранные с полной убеждённостью, защищённые мамой от любой модернизации на том основании, что сам выбор был священным.

— Так. — я опередил её и откинул одеяло одним углом, больничные уголки рухнули. — Залезай.

Она села на край кровати и посмотрела на меня снизу вверх, пылающая от жара под звёздными шторами, а я стоял над ней, закончив практическую часть и оставшись только с руками, и потому завис — ровно так, как пятнадцатилетний мальчик зависает над самым важным человеком во всей своей жизни, когда она больна и он отдал бы конечность за медицинский диплом: переминался, тянулся поправить подушку, которой это не нужно, двигал штору на четверть дюйма против сквозняка, которого не было.

— Ты настоящий джентльмен, Честер Фриман. — из нее

вырвалось хихиканье.

— Мама так воспитала. — пожимание плечами случилось само, целиком, от плеч до бровей, беспомощное. — Ничего не поделаешь. Это наследственное и лекарства нет.

— Ты поправляешь подушки у своей кровати?

— Разумеется, нет, моя подушка — варвар, она сражается со мной каждую ночь и никакой помощи не заслуживает. — штора получила от меня последнее бесполезное движение. — Твоя — гостевая. Другие правила. Тебе что-нибудь нужно? Вода, ещё одеял, окно открыть, окно закрыть, холодный компресс, что-нибудь почитать, радио, мама несёт суп. Называй что угодно, оно твоё.

И она посмотрела на меня.

Жар некоторых замедляет. Он замедлил её глаза, сделал их тяжёлыми, тёмными и незащищёнными, витринной улыбки рядом с ними не было и зубы прикусили нижнюю губу, ее рука поднялась с одеяла и взяла мою, пальцы переплелись с пальцами, нарочно, и она сказала это:

— Тебя.

Ох, — подумал весь остальной я, бесполезный, опалённый. — *Ох, это нечестно.*

Лёгкие на полную секунду потеряли функцию. Где-то в ушах мой собственный пульс выстроил барабанную партию, и я отвёл взгляд от неё, выигрывая время, собирая осколки, потому что вот что было в Лидии Уолтер такого, против чего я ни разу не сумел выработать иммунитет за восемь лет

экспозиции.

Она могла весь день держать меня за руку в коридорах, сидеть плечом к плечу, существовать в серой зоне, которую мы построили, где ничего не названо и всё понято, и я мог держать эту линию, я был в этом хорош, это была моя работа, а потом она брала буквы и клала их в этот голос, и вся архитектура моего самообладания рушилась, как строительные леса в ураган.

Тебя.

Не воду. Не одеяла.

Тебя.

Три месяца дневного света, и я всё ещё не знал, кем мы были — вот правда, та вещь, которую я доставал и переворачивал по ночам. Никто нас не определил. Мы держались за руки на глазах у шестидесяти человек и она ни разу не назвала меня своим парнем, и я ни разу не попросил, и воображаемая подруга из Эксетера тихо умерла за лето.

Даже друзья перестали спрашивать, каково устройство, потому что устройства не было — было только это, огромная безымянная вещь, которая вела себя ровно как любовь в темноте и ровно как дружба в полдень. У меня было постоянное место в стране, которая не выдавала паспортов.

А потом у неё поднялся жар, и она на один вечер перестала играть, и сказала мне настоящий инвентарь того, что ей нужно, и это был я, и каждая монета, которую я когда-либо считал в темноте, вдруг обесценилась, потому что казначей-

ство всё это время было в комнате.

— Хорошо, — мой голос вышел на октаву ниже и я прочистил горло совершенно без эффекта. — Хорошо. Ладно. Подвинься, Уолтер.

Туфли сняты, на кровать поверх одеяла, на спине, доскообразно прямой, джентльменская дистанция выдержана на уставных двух дюймах, руки сложены на груди, как на надгробии, взгляд в потолок, пока рядом волнами шёл жар.

Она завозилась. Угол одеяла с силой натянули прямо через мои уставные два дюйма джентльменской дистанции девочка, которая якобы умирала, и жар пришёл к моей руке, как из открытой духовки.

— Ты заразишься. — ее предупреждение вышло бормотанием, щека уже тонула в подушке, глаза наполовину закрыты под звёздными шторами. — Я заразная, Чес. Я опасна. Тебе надо быть на другой стороне комнаты или на другой стороне дома, честно, на этот счёт есть правила.

— Тогда будем болеть вместе. — мое пожимание плечами ничего мне не стоило и сказало ей всё — или так было задумано. — Мама сейчас принесёт суп и таблетки, всю больничную драму, жидкости, одеяла и термометр, и к завтрашнему вечеру ты снова будешь человеком, а если я заражусь — заражусь, и будем лежать здесь, как двое чумных, и ныть друг на друга. Вот весь план. Вот сервис.

Кивок пришёл. Ее волосы взметнулись, подбородок удвоился, девочка соглашалась на всю программу последними

силами, которые оставил ей день и что-то у меня в груди опустилось на одно колено при этом зрелище и осталось там.

— Стопроцентная посещаемость, — сумела она, уже уходя под, — это вся моя личность, — ее глаза закрылись на середине слога и она исчезла, погасла, как лампа, а я лежал поверх одеяла рядом со спящей печью и слушал её дыхание, не сдвинувшись ни на дюйм ни в одну сторону.

Дверь открылась.

— Так, моя девочка. — мамин поднос приземлился на тумбочку с авторитетом.

Суп, дымящийся, хорошие миски. Две таблетки рядом со стаканом лимонной воды. Термометр поднят, как скипетр.

— Под язык, без споров, я вырастила ребёнка, знаю все трюки, губы сомкни, вот так, вот так, ягнёночек. — мама погладила Лиди по голове. — Тридцать восемь и шесть. Не ужас, но и не дружелюбно. Убьём это к утру. Садись, моя малышка Ли, сначала суп, потом таблетки, потом сон, приказ врача, а врач — это я.

— Мам, мне бы…

— Тебе бы сидеть и быть мебелью, Честер, ты очень хорош в этом, когда она болеет, ты делаешь это с девяти лет, не думай, что я не заметила закономерности. — подушки завербовали, сложили, взбили с настоящей жестокостью, Лидию подтянули в них, обхватив рукой за спину, послушную, как котёнка, с закрытыми глазами и мама кормила первой ложкой с руки — буквально с руки, приговаривая. — Вот.

Маленькими глотками. Вот моя девочка. Бульон бабушки, нет ничего, чего он не чинит.

Ложка прошла ещё два круга. На четвёртом подходе рука Лидии поднялась и обхватила её — декларация независимости — и мама с улыбкой сдала инструмент и после этого следила за каждым глотком, как ястреб за гнездом.

— Пятнадцать лет я кормлю этого ребёнка, — сказала она мне, комнате, никому, собирая достоинство подноса обратно на ножки. — Пятнадцать лет, с тех пор как она была достаточно маленькой, чтобы сидеть на этой столешнице и воровать базилик. И за все пятнадцать она ни разу не дала понять, почему девочка ест как птичка за своим столом и как лошадь за моим. — глаза, которые она повернула ко мне, были мягкими и слишком знающими. — Какая бы ни была причина, Честер, этот дом остаётся тем же. Это всё, что я скажу. Теперь. Таблетки. Потом свет погашен к девяти, оба, и я не имею в виду обоих в одной кровати, я имею в виду букву закона, молодой человек, одеяло остаётся между вами, как граница, я буду проверять.

— Мама.

— Проверки, — сказала она и оставила миску с супом, лимонную воду и всю свою яростную любовь сидеть на тумбочке, прикрыв дверь до дюйма.

Ключи ударились о миску внизу в девять сорок. Входная дверь, холл, шаги папы по лестнице через две ступеньки, человек, вернувшийся с позднего, и дверь приоткрылась на

дюйм, его лицо появилось в щели, усталое, вопросительное, проводя перепись.

— В кровати Уолтер, а Честер на границе, — доложил он коридору, маме, истории. — Спрашивать?

— Жар, — донёсся голос мамы из их комнаты. — Тридцать восемь и шесть. Лондон забрал мэра. Она наша до среды.

— Лондон забрал мэра, — повторил папа мягко и всё равно вошёл, присел у кровати, положил тыльную сторону ладони на лоб Лидии с нежностью, которую я видел, как он направляет на неё, ещё до того, как научился нормально писать. — Горячая, как тост, бедная крошка. Привет, милая. Ты выбрала правильный дом, ты всегда выбираешь правильный дом. — он посмотрел на меня поверх неё и что-то прошло между нами без единого потраченного слова — весь брифинг Фриманов, проведённый одной поднятой бровью. — Ты будешь слушать её сегодня ночью.

Это тоже не был вопрос. Я кивнул и он кивнул, встал, расстёгивая воротник по пути к выходу, и сказал «*дверь остаётся приоткрытой на дюйм*» голосом человека, который доверяет сыну, любит девочку в кровати и сам когда-то был пятнадцатилетним, — и потом стало десять часов, стало темно и осталось только её дыхание и моё.

Сон взял её глубоко, а меня — мелко.

Полночь застала меня лежащим в собственной кровати с обеими дверями, приоткрытыми на уставной дюйм, глядя-

щим в потолок и ведя паттерн ожидания, который мой мозг летал каждую ночь над одной и той же маленькой территорией.

У френдзоны не было стен и выхода, и я уже знал каждый её камень. Три месяца рук, держащихся при дневном свете, шесть секунд, отложенных на пляже, одна фраза в полночь, сказавшая всё и к утру обратившаяся в ничто, и ни слова, ни слова никогда о том, кем я был для неё.

«*Парень*» — слово для других людей.

«*Лучший друг*» — титул, который она вручала мне, как медаль, на которую я не записывался.

А сегодня ночью, в жару, с отключёнными фильтрами, полусонная, с рукой сквозь границу одеяла, обхватившей два моих пальца, она ответила на вопрос об инвентаре одним слогом и положила меня.

Тебя.

Телефон один раз засветился на тумбочке. Групповой чат.

Бэйтс: Статус-отчёт по больной. Ела? Приняла таблетки? Фриман кормит её с ложки, я знаю, что он кормит её с ложки, кто-нибудь остановите его.

Дэйвон: Суп, следи, спи.

Я отправил в ответ большой палец, положил телефон экраном вниз и слушал сквозь стену долгий медленный прилив её дыхания, пока он не утянул меня вниз.

Три одиннадцать и звук прошёл сквозь стену.

Не крик. Хуже крика. Тонкий скулёж, высокий, непрерыв-

ный — звук маленького животного в проволочном загоне, — и я был сквозь щель в дверях раньше, чем мозг закончил отдавать приказ, босиком, сердце уже колотилось, а комната была тёмной и неправильной, дыхание неправильным: быстрым, поверхностным, сбивающимся.

Она свернулась тугим кулаком на боку, одеяло сбито в ноги кровати, обе руки у лица, кулаки, и скулёж вырывался сквозь зубы короткими вспышками, а голова жёстко вертелась на подушке — туда-сюда, *нет, нет, нет*.

— Лидия. — мои обе руки вытянуты ладонями наружу, где её катящиеся глаза могли бы их поймать, если откроются. — Лидия, это Чес. Ты у Фриманов. Ноябрь, твоя комната, звёздные шторы, у тебя жар, тебе что-то снится и я прямо здесь, ты в безопасности. Ты меня слышишь?

Нет, нет, нет, вертела она головой, а потом пришли слова — тонкие от жара, выдавленные, и волосы на руках у меня встали дыбом.

— Я была хорошей. — она буквально задыхалась. — Я была хорошей, я сделала, кран, я повернула, повернула медленно, я… — ее кулаки опустились и прижались к грудине, толкая, удерживая двери внутри себя закрытыми. — Не говори. Пожалуйста, никому не говори, прости, прости, я…

— Ты не извиняешься. — мой голос оставался медленным, пока всё за ним летело вниз по лестнице. — Не за что извиняться. Никто никому ничего не говорит. Возвращайся сейчас. Выходи из этого. Пять вещей, которые ты слышишь,

Уолтер, вот игра, вот приказ со скамейки. Один. Тикает радиатор. Давай. Найди ещё одну.

Ничего. Скулёж взвился выше. Осторожно, с телеграфированием всего пути, я положил два пальца на тыльную сторону её руки, где она прижималась к груди, и кулак раскрылся от прикосновения, как цветок ночью, и сомкнулся вокруг моего, дробя, и глаза наконец открылись — огромные, чёрные, плавающие, слепые.

— Чес. — выдохнула шумно она. — Чес, темно, где…

— У Фриманов. Третья дверь. Звёздные шторы, ужасные, ты их выбирала. Три часа ночи, у тебя жар, тебе снилось что-то и ты здесь, всё кончено. Ещё две вещи, которые ты слышишь. Дом оседает. Это два. Я дам тебе три: моё сердце колотится, как поезд, ты, наверное, это слышишь, это три, четыре и пять — твои.

Её глаза скользили и нашли моё лицо по дюймам, и приземлились, и приземлились, и слепота ушла из них, хватка на моих пальцах ослабла от дробящей до держащей и всё её тело раскрутилось болезненными градусами.

Она вдохнула, и дыхание порвалось посередине.

— Раковина, — прошептала она. — Я была где-то с раковиной. Это неважно. Глупо.

— Ему не обязательно быть важным. — где-то за рёбрами холодный сквозняк прошёл сквозь меня. — Всё кончено и ты здесь. Хочешь воды? Компресс? Маму?

— *Тебя*. — выдавила она второй раз за ночь.

Она потянула мою руку и я пошёл — через границу и под одеяло, где буква закона ничего не говорила о мальчике, держащем дрожащую девочку в три утра, когда архитекторы закона спят внизу по коридору.

Она приткнулась ко мне, как ключ. Лбом в ключицу, кулаками в футболку, одним коленом через моё — вся её печь, мокрая линия волос, бешеный пульс, — и я обхватил её руками и держал, чувствовал, как её сердце замедляется по одному удару у меня на груди, счёт, который я вёл в темноте губами у её волос.

Сквозняк сквозь картотеку продолжал дребезжать тем ящиком — *кран, повернула медленно, не говори* , — и я сделал то, что делали Фриманы с ящиками в этом доме, этом доме договоров: закрыл ящик, не заглядывая внутрь, остался и держал, и считал за нас обоих.

— Прости, — пробормотала она в конце концов, уже наполовину ушедшая, всплывая. — За сон. И за… я говорила. Жар говорит.

— Говорит. — кивнул я. — Ты сказала, что шторы ужасные, а я — поезд. Вот и весь протокол. Больше ничего на нём нет.

Маленький выдох у горла, который мог быть смешком. Потом сон и где-то посередине жар спал, я почувствовал, как это случилось: печь осела до углей, пот остыл у виска и я, не разбудив её, достал компресс с тумбочки и положил ей на лоб, делая арифметику ночи напротив потолка.

Кран, — думал я штукатурке, трём сорока, пятнадцати годам. — *Повернула медленно. Извинение за то, за что никто наяву никогда не извинялся. Каждый большой обед. Каждый термо-свитер. Каждый выходной, который она изобретает, чтобы остаться здесь.*

Завтра ей станет лучше и я ничего не спрошу, она ничего не скажет и я буду держать линию, как всегда. Но я ставлю дату на ящике. Три одиннадцать, ноябрь. Когда-нибудь кто-то откроет каждый ящик в жизни этой девочки и если это не могу быть я, если ей нужно, чтобы это был кто-то другой — профессионал, взрослый с лампой, — то ладно. *Но его откроют*. Это решено.

Шесть часов пришли серыми к шторам, а с ними мама и она остановилась в дверном проёме и приняла картину: девочка безвольная, с влажными волосами, спящая как мёртвая; мальчик, обхвативший её поверх одеяла, со своими тёмными кругами, компресс на её лбу, и какой бы вердикт ни требовала эта картина, она проглотила его целиком.

— Ну, — сказала моя мама почти беззвучно, ставя поднос без щелчка. — Жар спал, судя по ней. А сиделка дежурила. — одеяло натянули нам обоим до подбородков, её рука при этом была безличной и невыносимо нежной, и она посмотрела на меня долгую секунду поверх пара чайника, и голос, когда пришёл, был нижним — сводчатым. — Ты считал. Я слышала тебя сквозь стену в начале. Медленный голос, пять вещей. Ты делаешь это и каждый раз это меня разрушает. —

она остановилась у двери. — Что бы ни было в доме этой девочки, милый, оно больше нас и это не на сегодня. Но она пришла сюда, когда стало плохо, и её сюда отправили, как-то, чем-то, что знает. Спите. Оба. Завтрак в полдень и ни слова о границах.

Дверь прикрылась. Дюйм света из коридора погас.

Под одеялом Лидия продолжала спать, а я лежал в сером и окончательно отказался от сна и вёл единственный счёт, который когда-либо имел значение: её вдохи, туда и обратно у моей ключицы, теперь ровные, теперь спасённые, на эту ночь.

Двести шесть, — думал я, закрывая глаза, держась. — *Двести семь. Дыши, Уолтер. Я буду считать.*

ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
Лидия
27 ноября 2012 года

Оранжевый свет просачивался сквозь звёздные занавески под неправильным для утра углом и это была первая улика.

Вторая улика — тишина. Внизу не бормотало радио, не свистел чайник, не гремела фримановская перкуссия дверей, ботинок и дома, управляемого как добрый корабль. Только радиатор тикал своим вечерним звуком и откуда-то снизу плыл запах, принадлежавший жарящимся вещам.

Я лежала неподвижно в странном полумраке и подводила

итоги. Свет говорил «закат». Запах говорил «вторник». Тело говорило, что целый день прошёл сквозь меня, как вода сквозь сито, а когда я повернула голову к тумбочке, часы это подтвердили. Двадцать минут седьмого.

Вторничный вечер.

Я проспала почти целые сутки.

Потом я осознала тяжесть, тепло и причину, по которой моя левая рука онемела.

Честер Фриман лежал рядом со мной поверх пухового одеяла, ровно там, где пограничный закон велел ему быть, только пограничный закон, судя по всему, был свергнут ночью, потому что моя нога была закинута прямо на обе его ноги, рука лежала у него на груди, а лицо вжималось в его плечо так сильно, что шов его футболки отпечатался у меня на щеке.

Я его обнимала. Во сне, всем телом, как моллюск с температурой, а мальчик остался, придавленный мной, и продолжал спать.

Осторожно, как взломщик, я приподняла голову на дюйм и принялась его изучать.

Сон делал его глупым. Таково было научное открытие и я медленно собирала доказательства, улыбаясь как идиотка в оранжевой темноте.

Рот приоткрыт на миллиметр. Волосы разгромлены набок, примяты с одной стороны там, где его достала подушка. Одна рука закинута над головой, совершенно беззащит-

ная, подмышка наружу, достоинство утрачено. И веснушка. Всё ещё на месте, над бровью, пережившая всё, и мой палец уже двигался, прежде чем руководство одобрило миссию.Кончик пальца обвёл его бровь, убрал разгромленные волосы со лба, спустился к веснушке, чтобы лично её проверить.

Ты только посмотри на него, — подумала я и вся грудь размякла и отупела. — *Шесть футов стены, по словам всего графства. Спит с открытым ртом и подмышкой наружу.*

Его глаза открылись.

Никакого пробуждения, никакого мутного всплытия, просто открылись, как он всегда это делал: секунду назад его нет, а в следующую он весь здесь, и первое, на что наткнулись эти зелёные глаза, было моё лицо в двух дюймах, улыбающееся ему как сумасшедшая, с рукой на его брови.

— Я ничего не делала. — я отпрянула на целых четыре дюйма и развернула оборону.

— Ты что-то делала. — смех вышел из него низкий, надтреснутый, неторопливый, сон ещё стоял в нём густо и уголки его глаз сморщились от этого смеха, а мой желудок совершил несколько преступлений разом, просто слушая.

— Я проверяла твою веснушку. Это медицинский осмотр. Ты спал, ты ничего не докажешь и вообще это моя веснушка, я заявила на неё права годы назад. — я шлёпнула его по груди, один чистый удар, возмущённая из принципа. — И ты. Ты дал мне проспать целые сутки. Целый день, Честер.

Сейчас вторничный вечер. Я потеряла вторник как конечность. Отец наверняка звонил, школа наверняка отметила, я, наверное, уже в новостях.

— Пропавшая девочка, в последний раз замечена лихорадящей, откликается на «Уолтер». — он потянулся, длинно, разрушительно, кот размером с дверь. — Со школой всё в порядке, мама им позвонила, а твой отец всё ещё значится на лондонской конференции, так что официальная запись гласит, что тебя наблюдает медицинская команда. — он снова устроился на подушке и посмотрел на меня искоса. — Что правда. Команду возглавляет моя мать, оборудование — поднос и градусник, а персонал был потрясающим. Я лично ввёл четыре супа.

— Четыре супа.

— У бабушкиного бульона нет известных пределов. Был завтрачный суп, Лидия. Завтрачный суп случился с тобой в девять утра и у тебя были мнения на его счёт, все неправильные, а потом ты снова уснула. — его лицо сделало что-то мягкое и беспомощное на следующей части. — Ты спала весь день. По-настоящему. Как убитая. Мама заходила каждый час ровно, а я делал проверки между и Бэйтс так часто требовал отчётов в чате, что Джейкоб его заглушил, а такого никогда не было, Джейкоб однажды вытерпел целую неделю реконструкций знаменитых пенальти от Бэйтса, не заглушив его.

— Ты остался. Всё это время. В этой комнате.

— Кто-то должен был делать проверки между. — Чес сказал это легко, как о погоде, а потом вообще перестал что-либо говорить, потому что смотрел на меня и взгляд изменился.

Мне стоило быть готовой. Восемь лет этих глаз, у меня был полный каталог, каждая версия подшита и перекрёстно пронумерована и всё равно *любящая* разбирала меня на части каждый раз, когда приходила.

Эта была неторопливая. Та, в которой нет никакой игры, ни дразнящей нотки, ни дневного лоска, просто мальчик смотрит на девочку в оранжевом свете занавесок, будто она — ответ на что-то, что он нёс с собой с тех пор, как мы встретились.

Его рот всё ещё кривился от смеха. Его глаза были такие зелёные, такие тёплые и такие совершенно разрушительно полные мной, что мой желудок провалился сквозь матрас и ударился об пол внизу, а жар взбежал по горлу и взял оба уха с налёта, и я внезапно осознала каждое место, где ночь прижала нас друг к другу.

— Прекрати, — выговорила я.

— Прекратить что?

— Вот это. Смотреть. Ты делаешь «смотреть».

— Я смотрю на тебя, — подтвердил Чес без капли смущения. — Ты ловила меня на этом восемьсот раз, не знаю, почему сегодня это скандал. — он не прекращал. Если что, взгляд стал хуже, глубже, этот мальчик усаживается в крес-

ло, которым владеет. — Ты однажды побагровела за завтраком и я сделал это делом своей жизни, вот и всё. Тебя об этом уведомляли.

Моя рука двинулась раньше, чем я дала разрешение, снова, предательница, и на этот раз я позволила ей. Пальцы нашли разгромленные золотые волосы у его лба и отбросили их назад, медленно, тем же движением, каким его мать делала это с ним, тем же движением, каким он однажды сделал это со мной на парковке, и прядь упала обратно ровно туда, где была.

— Это твоя вина, знаешь ли. — я всё равно оставила руку там, ладонь у его виска, потому что оставить её там было самой правдивой вещью, которую я сделала за всю неделю.

Обвинение требовало приговора, и я его вынесла, рука всё ещё тёплая у его виска, а рот бежал впереди каждого забора, который я когда-либо строила.

— *Ты красивый*. Вот вина. Вся она. Это развивалось годами, и никто меня не предупредил, не было ни линейки, ни листовки, ничего. Однажды ты был мелким, а потом футбол взял тебя в оборот и превратил вот в это, и мне пришлось просто с этим жить. Ходить рядом с этим. Заниматься физикой рядом с этим. — мой большой палец обвёл край этой разгромленной золотой брови, теперь дерзко, за точкой отступления. — Волосы мои, я уже говорила, мы делим волосы, это честно. Но всё остальное — целиком твоих рук дело. Плечи. Эта штука с челюстью. То, как ты придержива-

ешь двери и смотришь на людей так, будто они это заслужили. Ты всё это сделал нарочно, Фриман, и теперь я не могу перестать на тебя смотреть, и это твоя вина, я хотела это зафиксировать.

Он замер совершенно под моей рукой.

Его грудь перестала подниматься и опускаться где-то на слове «красивый» и не возобновила свою работу, глаза всё это время оставались на моих, широкие, зелёные, немигающие в оранжевом свете.

Смотри, что ты наделала, — сказала я себе без единого сожаления в запасе. — *Восемь лет заборов и лихорадка снесла их все за один вечер, и вот он лежит в обломках, не дышит.*

— Чес. — я сделала голос серьёзным, тем, каким он становился, когда вещь действительно имела значение, и его дыхание вернулось одним медленным осторожным вдохом, как у человека, всплывающего нарочно. — Мне нужно тебя кое о чём попросить.

— Тебе лучше? — прохрипел он. — Серьёзно, я спрашиваю. Потому что все твои слова звучат как бред. Каждое. Ты назвала меня *красивым* и провела полную инвентаризацию моей челюсти, а пять минут назад проспала восемнадцать часов, так что я волнуюсь и рассматриваю возможность зафиксировать эти симптомы для специалиста.

— Ты должен был удержать момент. — моя рука покинула его висок и стала кулаком, кулак приземлился ему на гру-

дину.

— Я удерживаю политику по градусникам.

— Ты всё испортил!

— Я охраняю момент общественного здравоохранения, — сказал он, теперь ухмыляясь, грязный жулик, ухмылялся мне с подушки с разгромленными волосами, пока я сидела возмущённая рядом с ним и я пошла на него обеими руками.

Драка длилась около сорока секунд и я выиграла каждую секунду, потому что он позволил и мы оба знали, что он позволил, и это было почему-то самое весёлое. Я схватила его за шею, он мягко сбросил меня к подушкам, я вернулась сверху, хватая его за запястья, а он сопротивлялся ровно с силой человека, борющегося с котёнком, смеясь своим надтреснутым низким смехом всё это время.

Кровать приняла нас обоих, законы одеяла отменены, пограничные договоры в руинах. Его рука поймала мою и осторожно выгнула назад в запястье, моё колено нашло его бедро и мы покатились, и на один славный миг я прижала его плашмя, оба его запястья пригвождены к подушке над головой, пятнадцатилетняя девочка удерживает мальчика, которого всё графство звало стеной, и оба мы хрипим.

— Сдавайся, — потребовала я, торжествующая, волосы свисают на лицо.

— Никогда, — хрипло и восхищённо выдавил Честер Фриман, пригвождённый девочкой на фут ниже его и не делающий ни малейшей попытки освободиться.

И тут это перестало быть дракой.

Не знаю, кто из нас остановился первым.

Смех угас постепенно и мы тяжело дышали, оба, и мои волосы вывалились из всего и свисали между нами в оранжевом свете занавесок. Я была сверху с его запястьями в руках и его пульс шёл под моими пальцами там, где я их держала, быстрый, колотящий, совпадающий с моим удар в удар.

Его глаза опустились к моему рту.

Я знаю, потому что мои опустились к его в ту же самую секунду. Какая-то засада, устроенная нашими телами без совета с нами обоими, и вдруг во всём мире не осталось ничего, кроме нескольких дюймов горячего вечернего воздуха между его губами и моими. Его запястья один раз напряглись в моей хватке, не вырываясь, просто там, и его выдох вышел медленный и неровный, затуманив маленькое пространство между нами.

— Поцелуй меня, — храбро произнесла я.

Увереннее, чем я имела право, после всего, после лихорадки и рухнувшего забора и всего разгромленного дня. Но я попросила. Это было сказано. Это была та вещь, которую я просила у него в песнях в полночь, произнесённая вслух при дневном свете впервые в моей жизни, и моё сердце колотилось о рёбра так, что я чувствовала его в горле.

— Нет, — ответил он мягко. — Ты болеешь.

На секунду слова просто повисели там, отказываясь складываться в смысл.

— Ты, — вспыхнула я. — Ты идиот. Ты серьёзно?! — мои руки отпустили его запястья и я села верхом, ладони плашмя на его груди, раскалённая. — Я вручаю тебе один идеальный момент. Один. Вечерний свет, сияние занавесок, весь антураж, любой фильм взял бы его, а ты испортил его лекарством. Был момент, Чес. Был момент прямо там, а ты пошёл и вакцинировал его.

— Дыхание лихорадочное, — сказал он, разгромленный, хрипящий, ухмыляясь как грех. — Заразное.

Оба моих кулака опустились ему на грудь, *бум, бум*, безвредно, как град, и я была посреди второго «бума», когда его руки обхватили меня, как закрывающиеся ворота. Мир перевернулся.

Он собрал меня в охапку без всяких усилий, стена заявила о себе на полсекунды и я провалилась в него, щекой к грудине, пригвождённая наилучшим образом, завёрнутая в обе его руки на разгромленном одеяле в оранжевой темноте. Его сердце колотилось под моим ухом и это говорило мне всё, что его рот отказался сказать, а его смех прошёл через его грудь в мою, как погода.

— Знаешь что? — я вытолкнула слова в его футболку, теперь тоже смеясь, беспомощно, оба мы тряслись от этого. — Забудь. Вычеркни из записи. Я не в себе, это температура, пациенты всякое говорят, это в брошюрах, я уверена.

— Мм, — его руки устроились и сжались крепче.

— Забудь каждое слово. Особенно про «*красивого*». Это

суп говорил.

— Четыре супа, — согласился он торжественно. — Даже завтрачный суп. После завтрачного супа никто не отвечает за свои слова. Есть прецедент.

— И просьба о поцелуе никогда не звучала.

— Я этого не говорил.

Я приподняла голову на дюйм и обнаружила его подбородок над собой, ухмылка стекла с него в другое, в то, что под низом. Его рука поднялась и собрала разгром моих волос с моего лица двумя пальцами, неторопливо, самая старая наша хореография.

Два мягких стука приземлились в дверь, которая открылась ровно на ширину чайного подноса, и в щели появилось лицо Лилисии с вечерним светом площадки позади. Она провела перепись одним взглядом — разгромленная кровать, раздавленная граница, её сын, обёрнутый вокруг девочки, которая явно только что смеялась, — и какой бы приговор картина ни требовала, она улыбнулась им вместо того, чтобы произнести.

— Вот она, вернулась среди живых. — ее поднос вплыл и приземлился на тумбочку: бульон, лимонная вода, две таблетки, выстроенные как солдаты. — Ешь, что сможешь, девочка моя, на этот раз обе таблетки, я проверю. И ужин в восемь для всех, кто стоит на ногах, а я теперь вижу, что это двое, и это жаркое, и я ровным счётом ничего не видела, как и вчера. — она остановилась на выходе, её глаза на мне по-

следнюю долгую секунду, тёплые, как поднос. — Цвет вернулся к тебе, милая. Что бы это ни сделало, продолжай.

Дверь притворилась до своего положенного дюйма. Поднос парил. Ни один из нас не двинулся к нему.

Его подбородок опустился на макушку моей головы и его руки сделали своё последнее устройство. Я лежала над его сердцем и слушала, как оно бежит, и через некоторое время, когда наше дыхание выровнялось друг под друга, как всегда бывало, он прижал один медленный поцелуй к моей макушке, задержался там на секунду, дольше, чем требовала буква любого закона, и заговорил в мои волосы своим разгромленным, неторопливым голосом:

— Это была не температура, Лид. Каждое слово было тобой, я всё слышал и я сохраняю каждое навсегда, так что можешь забирать их назад сколько угодно. — его рука медленно двинулась вниз по моей спине, один долгий проход, старый ритм. — И ответ — да. Это всегда было «да». Просто попроси меня снова, когда поправишься, вот и всё, потому что мой поцелуй, который я тебе дам, не случится на койке, он случится при дневном свете, на глазах у всего мира, как положено, и я репетирую его с тринадцати лет. Так что поправляйся, Уолтер. — его грудь поднялась под моей щекой с прибывающей ухмылкой. — Ты будешь катастрофой, когда поправишься.

— Ты прав, — я ухмыльнулась ему в ответ и ткнула в твёрдую грудь. — Я буду.

ДВЕ ЛАМПОЧКИ
Честер
28 ноября 2012 года

Выздоровление закончилось в среду утром и закончилось оно громко.

Школьный рюкзак шлёпнулся на лабораторный табурет рядом со мной за две минуты до девяти и Лидия Уолтер рухнула на него в том же движении — щёки розовые после прогулки, волосы в полном беспорядке, снова живая после нескольких дней супа и маминого режима ухода.

Она тут же начала стягивать мой рабочий лист, ещё до того, как я успел сесть. Лаборатория 2 не сразу это заметила. Мистер Праус всё ещё воевал с проектором, радиатор медленно тикал, поднимаясь до еле тёплого состояния, а иней на окнах ещё не сдался ночи. От неё пахло холодным воздухом, её шампунем и она принесла с собой всю свою яркость целиком, а я сидел в этом сиянии, делая вид, что моё утро только что не улучшилось на четыреста процентов.

— Ты на моём месте, — сказал я.

— Я на месте Бэйтса, а значит, это его место, а значит, ничьё, а значит, моё. — Лид расплющила мой лист на столе между нами и оградила его обоими локтями, аннексируя. — Оливия организовала обмен. Она хочет сидеть с Бэйтсом.

— Никто не хочет сидеть с Бэйтсом.

— Оливия хочет. Говорит, он довольный. Говорит, не требует обслуживания и смеётся над всем, и что после стольких лет со мной ей хочется спокойной старости. — она рылась в моём пенале в поисках рабочей ручки. — Меня обменяли на парня, который думает, что электроны — это группа.

С другой стороны лаборатории другая сторона сделки держала двор. У Бэйтса ноги были закинуты на раму табурета, а одна рука лежала на спинке стула Оливии, как у человека, унаследовавшего поместье; он вещал на весь ряд.

— Обменяли, — объявлял он всем, кто попадал в зону его голоса. — Столько лет преданности, и меня обменяли, в середине сезона, без предупреждения. Хочу, чтобы все знали: я принял это с достоинством.

Оливия, разбирая пенал рядом с ним, тихо сказала что-то, от чего он фыркнул и что бы это ни было, она улыбалась в свою сумку и нигде в этом обмене никто ни на кого не обиделся. В том и было всё чудо нашей компании. Места менялись. Под местами — ничего.

Позади нас устраивалась другая пара. Джейкоб занял внутренний табурет, как человек, возвращающийся на забронированную скамью, Дэйвон сложился рядом с ним и оба уже направили внимание на стол перед собой, на нас, как комментаторы на поле.

— О, это новое, — сказал Джейкоб, откинувшись назад, скрестив руки. — Смотрите-ка. У него она за его столом. Пару дней ухода — и вот уже запрос на перевод. Ухаживание

вступило в лабораторную фазу.

— Сегодня у них цепи, — невозмутимо произнёс Дэйвон в потолок. — Подходяще.

— В смысле?

— В смысле они с девяти лет как одна цепь, а никто до сих пор не подключил.

Я не обернулся.

Опыт научил меня, что оборачиваться — это подливать масла, поэтому я смотрел на аннексированный лист и чувствовал, как Лидия рядом напряглась, стараясь делать то же самое. А позади Джейкоб издал тихий восхищённый звук, звук человека, который смотрит, как двое проигрывают игру, в которую, по их мнению, они не играют.

Мистер Праус победил проектор в пять минут девятого и доска засветилась схемой, похожей на коробку синих спагетти.

— Так. Последовательное и параллельное соединение. Всё ваше дальнейшее понимание электричества держится на сегодняшнем дне, так что те, кто планирует выйти замуж за богатых, могут рисовать. — он нашел кликер. — Ток, напряжение, сопротивление. Мисс Уолтер, отложите ручку, у вас уже идёт борозда.

— У сэра шутки, — пробормотала Лидия и вернула мне лист в общее пользование.

Беда, как всегда с ней, началась через четыре минуты, когда схема предъявила требования. Она дважды прочитала

первый вопрос, шевеля губами, а потом повернулась ко мне с тем лицом, которое приберегала для любой власти — учителей, экзаменационных комиссий, законов физики: для неё всё это было одно и то же, всё — начальство.

— Почему, — сказала она, — кто-то строит это последовательно. Одна штука ломается — и всё гаснет. Ужасная система. Кто это согласовал.

— Вселенная согласовала. Довольно давно. — я пожал плечами.

— Тогда вселенной плохо управляют. — Лиди ткнула ручкой в схему. — И не включай этот голос. Терпеливый голос. Я болела, а не отупела, это разные вещи и ты сейчас говоришь тем голосом, которым говоришь с девятиклассниками.

— У меня нет голоса.

— У тебя целый оркестр голосов. Есть голос для доски…

Каталог моих голосов продолжался, детализированный, беспощадный, а я сидел и принимал приговор, как мужчина.

— …голос из первого кабинета, голос медсестры, голос Холси, который по сути тот же медсестринский, только со свистом, и самый ужасный — нынешний, объясняющий, где ты говоришь медленно и ровно, будто я ёжик, которого учат переходить дорогу.

— Ежи, как известно, плохо справляются с цепями, — произнес я, сдерживая смех, который рвался наружу. — Есть полевое исследование.

— Сейчас будет полевое исследование твоего тела. — ее ручка ткнула в меня, потом в схему, потом снова. — Просто объясни нормально. Как человек. Без голосов. Если голос вылезет — я перехожу обратно к Оливии, а тебе достанется Бэйтс и его группа «Электроны» на вечность.

Поэтому я сделал по её велению, это всегда был единственный способ, которым мы чему-то друг у друга учились.

Первый ход: повернуть лист так, чтобы спагетти смотрели на неё, а не на меня, потому что схема — это уже половина битвы, а версия с доски ещё хуже. Второй ход: закрыть рукой всю нижнюю половину, чтобы на странице была только одна идея за раз, потому что её глаза убегали, когда было слишком много всего, всегда убегали, и лист, полный резисторов, был страной, которую она бросала в течение минуты.

— Ладно. Забудь доску. Рождественские гирлянды.

— Хорошо. Празднично. Продолжай.

— Старые дешёвые, какие бывают у бабушек, подключены последовательно. — я быстро нарисовал на полях петлю: вереница маленьких кружков, одна линия, один путь. — Один путь, вокруг да около. Каждая лампочка сидит на нём, как бусина на нитке. И поскольку путь всего один, если одна лампочка сгорает — вся цепь размыкается и вся гирлянда гаснет. Каждое Рождество какая-нибудь бабушка четыре часа проверяет лампочки по одной, чтобы найти предательницу. Это последовательное. Это то, на что ты так злишься на вселенную.

— И правильно, — выдавила Лид с чувством. — Система, в которой все проигрывают из-за одной поломки. Я работала в таких группах.

— Теперь. — рядом с первой петлёй я нарисовал вторую, уже лестницу: перекладины, ответвления от ответвлений. — Параллельное. У каждой лампочки свой путь обратно к батарейке. Ток разделяется, течёт через все сразу и если одна сгорает — остальные даже не замечают. Продолжают светить. Сгоревшая тёмная, гирлянда жива. Это твои гирлянды дома, это проводка в доме, поэтому тостер, сгорев, не гасит твою спальню.

Она долго смотрела на лестничную схему, жуя кончик косы, будто ручка оскорбила её семью, а потом палец опустился на одну перекладину.

— Значит, эта сгорает. — она легонько стукнула по схеме. — А остальные просто… продолжают.

— Продолжают. Ничто от неё не зависит.

— На самом деле неправда. — ещё один удар от нее, более решительный. — От неё зависит сгоревшая. Она теперь тёмная. Никто за ней не приходит, она просто тёмная сама по себе, пока все остальные прекрасно светят.

— Это очень лидийское прочтение нейтральной схемы.

— Это правильное прочтение. У физики есть чувства, Фриман, тебе просто никто не говорил.

Позади нас голос Джейкоба донёсся уже в разговорной громкости, точно нацеленный поверх наших плеч:

— Он флиртует с ней через электричество. Смотрите на него. Две петли и лестница — и он думает, что он Дон Жуан. Есть мужчины, которые дарят цветы, а есть мой друг, который рисует резисторы девушке.

— Есть мужчины, которые с цветами продвинулись бы дальше, — сказал Дэйвон, не отрываясь от учебника, который не читал. — Последовательное и параллельное. Один путь или много. Он выбрал свой путь, просто объявляет об этом через школьную программу.

— Каждый урок у него — любовное письмо. В девятом классе он делал ей осмос и она порозовела. У меня это в дневнике.

— У Оливии это в дневнике, — поправил я, не оборачиваясь.

— У Оливии всё в дневнике. Теперь это общеизвестный факт, этот осмос. Ты — история.

Лидия рядом приобрела цвет, который я отложил в память и о котором ничего не сказал, а потом снова наклонилась над листом с челюстью, сжатой так, как бывает, когда она собирается победить эту штуку хотя бы из чистого упрямства.

Вопрос за вопросом мы продирались. Холод всё ещё жил в её и время от времени она останавливалась и дула на костяшки, как взломщик сейфа. И однажды, без единого слова с обеих сторон, я вынул ручку из её замёрзшей хватки и сделал следующую строку вычислений, пока она диктовала.

Это сработало так хорошо, что стало системой: её мозг, моя рука, наш почерк сталкивается на одной странице.

Четвёртый вопрос она сделала полностью сама. Без подсказки, без намёка — полный параллельный расчёт, ток разделяется по двум ветвям. Она дважды проверила и подняла на меня глаза, и всё лицо светилось, а в груди у меня случилось то, что случалось с две тысячи четвертого года, тихо, по расписанию, и я ни разу в жизни ничего с этим не мог поделать.

— Правильно, — сказал я. — Точно правильно, Лид. Смотри, полный балл. Ты сделала.

— Это один вопрос.

— Это сложный.

— Дэйвон сделал за четыре минуты.

— Дэйвон, — сказал я, — пугающий индивид и не основание для сравнения. Ты сделала за пятнадцать с обморожением и парой дней супа.

Она всё ещё светилась от этого, плечо тёплое напротив моей руки, уже на полпути к рассказу о том, какие именно экзаменационные вопросы она теперь разнесёт, когда пришла записка.

Она пришла, как они всегда приходили: из рук в руки по ряду, маленький свёрток, путешествующий с гладкой экономией контрабандной операции, переданный со стола Прии парню перед нами, а потом боком на мой — без единого слова.

Парень передо мной кинул мне взгляд с одной приподнятой бровью и маленькой улыбкой — международный язык жестов «удачи» — и повернулся обратно. Розовая бумага. Плотно сложена, уголки заправлены, чья-то лучшая работа. Из двух рядов впереди и одного выше, где Софи Марш сидела, подперев подбородок рукой, с огромным усердием глядя на проектор, а уши слегка розовели.

Лидия увидела, как она приземлилась.

Её фраза про экзаменационные вопросы оборвалась на полуслове.

Я развернул её под столом, ниже линии обзора ряда, с отработанной осторожностью парня, который получал сложенную бумагу с тех пор, как у него сломался голос, и ненавидел каждую. Почерк был круглый и аккуратный, заглавные пройдены дважды.

Все говорят, что ты идёшь на вечеринку Уитлока в пятницу. Шестой класс, поле, большая. Я иду, меня наконец пригласили, не благодаря туристическому бюро этой школы. Найди меня, если пойдёшь. Ты всё ещё должен мне конец той экскурсии, ты остановился у фрески. С. х

Достаточно прямо. Даже мило. Девушка двумя рядами выше, которая в чернилах храбрее, чем девушка из расписания когда-либо осмеливалась вслух, потому что для этого и существуют записки — в этом вся их индустрия: смелость, которую можно отправить, а не сказать.

Я прочитал один раз и всё время знал, что девушка рядом

читает через моё плечо, не двигая глазами — навык, который она оттачивала с превосходством, — и знал ещё кое-что: звук, очень тихий, слева от меня.

Её зубы.

Скрежет. Тот самый специфический мельничный звук челюсти, поставленной под прямым углом к самой себе, который я впервые услышал на уроке математики в марте, когда манчестерский акцент спросил меня про окружные испытания, и слышал снова на пляже над бутылкой.

И вот он снова, на частоте — звук того, как Лидия Уолтер тихо и лично вспыхивает рядом со мной, сохраняя лицо полной муниципальной спокойности.

Я сложил записку по её же сгибам. Один сгиб, два, маленькая, ещё меньше, и сунул в карман пиджака, глаза вперёд, голос ровно на уровне шума радиатора.

— Выброшу после.

Ничего не пришло в ответ.

Тишина рядом имела текстуру. На ней можно было развешивать вещи. Лидия сидела очень прямо на табурете, позвоночник как отвес, а её ручка — моя ручка, наша ручка — опустилась на угол её собственной тетради и снова принялась за то, что я видел в жизни ровно один раз: борозду, ручку, которая раз за разом проходит по одной линии, давит, давит, бумага становится белой и ворсистой под пером, земляные работы, девушка, роющая к центру земли на виду у всего урока физики.

— Можешь делать что хочешь. — ее пожимание плечом пришло по расписанию. — Это твоя почта. Оставляй, выбрасывай, в рамку, начинай коллекцию — мне искренне всё равно. Тебе разрешено получать почту. — она надавила на ручку сильнее. — Всем разрешено получать почту. Свободная страна. Почта — это почта.

— Она пойдёт в мусор.

— Прекрасно. Замечательно. — ее отвес не согнулся ни на градус. — Кстати, в пятом вопросе два резистора параллельно и один последовательно в конце, я тебе говорю, чтобы ты нарисовал, потому что у меня руки заняты.

Заняты. Я смотрел на борозду, на белый клок испорченной бумаги, на челюсть, которая работала в профиль, и делал те же суммы, которые делал с семи лет, быстро, в старой валюте.

Март, манчестерская девушка, траншея, сорок минут тишины. Август, бутылка, упавшая не на тех двоих, смех без дна.

И вот снова ноябрь, розовая бумага, мельница этих зубов. Между нами никогда ничего не нужно было говорить ни о чём из этого, потому что суммы всегда были одной и той же суммой. Она не могла держать меня при дневном свете, поэтому не могла смотреть, как меня предлагают при дневном свете, и эти два факта воевали в ней ещё до того, как она знала, как назвать любой из них, а мне досталось сидеть внутри этой войны, на хорошем месте, в траншее, вокруг которой

роют.

Ладно, — подумал я и потянулся за ручкой. *— Ты не можешь сказать ей это при дневном свете. Хорошо. Никто из нас никогда и не говорил. Но в этой школе больше одного почтового ящика.*

Самый быстрый почтовый ящик в школе оказался в двух футах слева от меня, и уголок моей тетради оторвался у меня в руках со всей скрытностью человека, подделывающего деньги.

Пока мистер Праус переключал слайды про сопротивление, которые к пятнице никто в комнате не вспомнит, я расправил оторванный уголок на колене, под столом, вне юрисдикции урока, и рисовал.

Одна батарейка. Один провод от неё. Одна петля, чистая, без ответвлений, без перекладин, без альтернатив, и на этом единственном непрерывном пути я поставил две маленькие лампочки рядом, как компоненты в бабушкиной рождественской гирлянде, и подписал первую C, а вторую L. Потом, внизу, самым мелким своим почерком — подпись.

Подключены последовательно. Один путь, вокруг да около. Если один из нас гаснет — гаснет вся гирлянда. Установлено в 2004. Ремонт не планируется. Никогда.

Я один раз перечитал, проверяя грамматику так, как проверял всё, что когда-либо отправлял через почтовый ящик, потому что у нас неправильное слово — это неправильное десятилетие.

Ручка ушла в карман. Потом я сложил бумагу по двум сгибам, пока она не стала достаточно маленькой, чтобы быть ничем — маркой какой-то штуки, — и передвинул её боком под столом в пространство между нашими табуретами, по той же контрабандной дорожке, по которой десять минут назад ко мне прибыла розовая смелость Софи Марш, только теперь груз шёл в обратном направлении.

Лидия почувствовала, как она приземлилась ей на костяшки.

Её рука закрылась поверх на рефлексе, и секунду она вообще не двигалась, а потом любопытство сделало то, что любопытство всегда делало с ней и сгиб открылся в укрытии её ладони, ниже линии обзора ряда, и глаза опустились на него.

Мельница её челюсти остановилась.

Это было первое прочтение. Зубы, которые мололи друг друга, как вся каменоломня, замолчали на полуходе, а ручка, которая превращала её тетрадь в ворс, чисто оторвалась от бумаги и зависла в воздухе, забытая.

Её глаза один раз прошли по петле — от батарейки к лампочке, к лампочке, к батарейке, — а потом спустились к подписи, и я смотрел, как они двигаются по мелкому почерку строка за строкой и смотрел, как розовый в реальном времени поднимается по боку её шеи, мимо воротника, мимо челюсти, захватывая всё ухо.

Она прочитала второй раз. Медленно.

Потом, без единого слова, даже не взглянув на меня ни

разу, Лидия снова взяла ручку, положила записку ровно на бедро под столом и начала править схему. От первой лампочки пошли короткие штрихи — лучи, какие рисует каждый ребёнок вокруг солнца, четыре штуки, а потом то же вокруг второй, ещё четыре, так что и C, и L светились на странице, зажжённые, на одном пути, вместе, а под моей подписью она добавила одну строку своим косым, разбитым почерком.

Обе горят. Проверено дважды. Гирлянда жива.

Сгиб вернулся тем же путём, вжат в мою ладонь под столом, а потом она повернулась обратно к своему листу и взялась за пятый вопрос, будто предыдущие девяносто секунд произошли в другой суверенной стране.

Плечо, правда, пришло в покой напротив моей руки. Вся тёплая длина, нарочно, заново устроенная, а борозда в тетради осталась брошенной, наполовину вырытой — траншея из войны, которая закончилась.

Оставлено, — отметил я, глядя, как она ничего не кладёт в карман, потому что она не вернула её на хранение — она вернула так, как ставят вторую подпись. — *Заверено. Обе горят. Это самый большой абзац, который она написала мне при дневном свете с пляжа.*

Позади нас комментаторская будка не ослепла.

— Они передают записки, — доложил Джейкоб на громкости, откалиброванной на наши две головы и, возможно, на Прауса. — Вы там в порядке? Он получил одну от Марш и за две минуты изготовил свою. Это не переписка, это ответ. Он

ведёт переписку за столом. Есть женатые мужчины с меньшей почтой.

— Он ответил на записку схемой, — сказал Дэйвон, переворачивая страницу учебника. — Человек нарисовал свои чувства и сложил их. Эффективно. Ничего лишнего.

— Я хочу посмотреть. Я его друг и у меня есть привилегии на записки. — услышал Бэйтс с другого конца класса.

— У тебя нет привилегий, — хором сказали Джейкоб и Дэйвон, и голова Оливии поднялась с двух столов дальше, как перископ, учуяв на расстоянии материал для дневника, а Бэйтс начал подниматься с табурета, чтобы подойти и расследовать лично.

— Садись, Хоккинс, — сказал мистер Праус, не оборачиваясь от доски, один из великих трюков его карьеры. — А раз трое из вас явно закончили лист, а Фриман и Уолтер ведут под моим столом, похоже, канцелярский бизнес, давайте проверим теорию. Уолтер. Последовательная цепь. Одна лампочка перегорает, что происходит?

Вся лаборатория повернулась. Лидия выпрямилась на табурете, как вызванный солдат, и я смотрел, как она вытаскивает вопрос из обломков последних десяти минут, как ответ собирается у неё за глазами.

— Путь разорван. Ток останавливается везде. Вся гирлянда гаснет. — пауза, а потом, потому что она была собой, добавила: — Ужасная система и вселенной должно быть стыдно, но вот что происходит, сэр.

— А в параллельной, мисс Уолтер?

— Всё остальное продолжает светить. — она остановилась, затем продолжила. — Гирлянда жива.

— Верно по обоим пунктам и подозрительно поэтично. — кликер Прауса двинулся дальше. — Шестой вопрос, все. Миллиметровка в шкафу, Бэйтс, иди, не орбитируй.

Шестой вопрос медленно умирал под нашей совместной диктатурой — её мозг, моя рука, система держалась, — и к концу она уже спорила со мной про значащие цифры всем восстановленным лицом, розовый ушёл с ушей, ручка служила законным целям и в какой-то момент её холодные пальцы перестали дуть на себя и просто украли мою руку со стола и держали под партой для согрева. Я позволил себя украсть.

Звонок прозвенел в двадцать минут и лаборатория разобрала себя в обычном бунте сумок и скрежета табуретов.

Лид не видела момента с мусоркой, а я сделал это так, чтобы она могла. По дороге к выходу, проходя мимо корзины у двери, на виду у неё, у Бога, у всех, я вынул розовый свёрток из кармана пиджака и бросил туда и не проверял, смотрит ли она, потому что чувствовал, что смотрит, как чувствуешь солнце сквозь стекло.

Софи Марш стояла у двери, отдавая папку подруге, и поймала мой взгляд, когда мы проходили мимо. Я дал ей маленький честный кивок, какой даёшь за храбрость, и больше ничего. Она прочитала в нём возвращённый результат, потому что девушки читают всё и посмотрела вниз на папку, а

потом снова вверх с виноватой полуулыбкой, которая говорила ясно, как печать: *стоило попробовать, стена*.

Коридор заново собрал группу так, как это делают коридоры — скопление хаоса, движущееся к парковке со скоростью сплетен, и сплетня сегодня имела одну тему.

— Пятница, — объявил Бэйтс, идя задом и не замечая, как врезается минимум в двух восьмиклассников. — Поле Уитлока. Шестиклассники пригласили весь одиннадцатый, а по рассеянной логике таких вещей — и нас. Костёр размером с маленькую церковь. Звуковая система. Родители Уитлока, судя по всему, в Биаррице, что по-французски значит *«приходите и разнесите мой дом»*. Это вечеринка календаря. Это вечеринка нашей жизни и я не буду слушать возражений.

— Кто нас пригласил? — спросил Джейкоб плоско.

— Брат Маркуса Уэбба. Что и есть приглашение. По любому юридическому определению.

— Это приглашение по близости. Мы десятый класс, Бэйтс. Десятый класс на вечеринке шестого — это присутствующий, а не гость. Разница есть и она имеет значение, когда вещи начинают опрокидывать.

— Ничего не опрокинут.

— Что-то всегда опрокидывают. Исторически — тебя.

— Шестиклассники, поле, костёр и Бэйтс. — Каталина шагнула рядом, сумка через одно плечо, клинический взгляд уже одетый к случаю. — Я читала про такие ночи. Они за-

канчиваются исследованиями. Продольными. — она сканировала группу. — Ладно. Я иду. Чисто наблюдать за экземпляром в естественной среде обитания.

— Ты не можешь насытиться мной, — безмятежно сказал Бэй-Бэй. — Ты не стёрла меня на пляже. Двадцать пятое августа, внесено в доказательства. Полный контакт щекой, ноль дезинфекции. Джейкоб получил салфетку. Дэйвон — бесплатный пропуск. Меня оставили на весь день, как штамп, которым кто-то гордился.

— Море тебя уже стерилизовало. — Каталина поправила ремень сумки, не сбиваясь с шага, вынося приговор в среднюю дистанцию. — Салфетка для антисанитарных поцелуев. Ты час пробыл в воде. Это была сортировка, Бэтмен, а не нежность. — слишком длинная пауза, во время которой она абсолютно не улыбнулась, и каждый из нас отметил эту не-улыбку.

— Всё это идёт в дневник. — Оливия вынула ручку ещё до того, как предложение закрылось. — Вечеринка, пляжный прецедент, юриспруденция салфетки. Будущие поколения будут изучать эту группу и я намерена быть первоисточником.

— Будущие поколения будут изучать полевую вечеринку, — сказал Джейкоб, — потому что что-то опрокинут и сожгут школу. Исторически — Бэйтс. Исторически всегда Бэйтс.

— Одну урну, — запротестовал Бэйтс в потолок, поколениям. — Одну урну, один раз, в восьмом классе и она уже

почти горела, когда я её нашёл.

Гравий сменил линолеум, когда мы высыпали из двойных дверей в холод парковки. Выхлопные газы туманом поднимались от линии ждущих машин. Началась ежедневная хореография рассеивания: рукопожатия по кругу парней хваткой, одобренной Джейкобом, Оливия штампует свою коллекцию объятий на скорости, а Дэйвон стоит посреди всего этого с сумкой на одном плече и смотрит на группу с выражением человека, который считает про костёр.

— Я приду в пятницу, — выдавил он без подсказки, никому и всем.

Все головы повернулись.

— Ты. На вечеринку. Добровольно. — Бэйтс реально остановился — а это случалось, может, раза три за всю зафиксированную историю.

— Кто-то *держал пальто* на пляже. — Дэйвон пожал одним плечом, будто предложение уже закончено, а потом добавил, потому что он Дэй и второе предложение всегда ложится тяжелее первого: — Поле, огонь, сорок шестиклассников и эта компания. Это четыре вещи, за которыми надо следить. У меня только два глаза, так что никто не уходите. — с этими словами он сложился в отцовский седан, как человек, входящий в программу защиты свидетелей, и машина Кавелли тронулась, пока Бэйтс всё ещё формировал ответ с открытым ртом.

Наш бордюр был третьим по счёту и Гаррик уже стоял там

с машиной Фриманов, кроссворд сложен на панели, неторопливо, принципиально не спеша отпирать двери — в своём темпе, человек, которого десятилетия подростков не могут поторопить.

Лидия стояла рядом со мной на холоде, пока мы ждали, и я отметил нервозность в первые десять секунд. Ремень сумки — скрутила, раскрутила. Учебный вопрос как отвлекающий манёвр, что-то про график шестого вопроса, брошенный на полпути.

Глаза на ворота, на гравий, на крышку бензобака машины — куда угодно, только не на моё лицо.

Настоящий вопрос вышел боком, нацеленный в бордюрный камень.

— Ты идёшь. В пятницу. На штуку Уитлока? — пауза, а потом пришла оговорка, непринуждённая, так тщательно непринуждённая, что вся архитектура её тела была выстроена, чтобы сообщить: никакой ответ не будет для неё ничего значить. — Бэйтс говорит, половина десятого идёт. И шестой класс, и… все. Оливия делает репортаж для дневника. Это событие, видимо.

— Слышал.

— Так ты… — её ноготь нашёл нитку на ремне и принялся за неё. — Идёшь.

— Иду. — мой кивок пошёл вместе с этим, маленький, уверенный, как я кивал Холси про округ, как киваю на всё, что уже решено во мне до того, как вопрос задан. — Не про-

пущу. Кому-то надо стоять рядом с Дэйвоном и пальто, к девяти ему понадобится смена.

Выдох вышел из неё длинной медленной струёй тумана, она услышала себя и попыталась превратить вторую половину в зевок — катастрофа спасения, — а я смотрел на крышку бензобака вместе с ней и позволил ей сохранить фикцию, что я это пропустил.

Розовая бумага лежала в урне в лаборатории 2, а девушка с тёмными волосами будет на поле в пятницу с приглашением, которое в глазах всех, кто видел, как его отправили, всё ещё технически открыто, и ничто из этого никогда не было переменной ни в одной сумме, которую я считал.

Но сказать это вслух стоило бы ей пожимания плечом, которое она уже строила, поэтому я потратил это иначе.

— В любом случае, ты будешь знать, где я. — сказал я и машина чирикнула, когда Гаррик наконец, наконец-то, по расписанию ни для кого, отпер её. — Все будут. Я буду тем высоким у костра, которому всё время суют чужие стаканы подержать, и я найду тебя первой — до речей, до опрокидывания вещей, до того, как Бэйтс каким-то образом найдёт свисток. Первый пункт повестки. Так что надень что-нибудь с капюшоном, потому что ноябрьские поля — это по сути море с травой.

Её рот открылся и закрылся, а нитка на ремне получила последний убийственный поворот.

— Нельзя просто так говорить такие вещи на парковке,

Фриман. — прошептала она, с ржавчиной по краям, не глядя на меня, абсолютно излучая. — Люди слышат. Гравий слышит.

— Пусть. Гравий знает с две тысячи четвертого.

Окно Гаррика опустилось на два дюйма, его голова появилась в щели, карандаш от кроссворда всё ещё за ухом.

— Если переговоры закончены, на улице четыре градуса, а у меня кроссворд под неудобным углом. — его глаза медленно и доброжелательно прошлись от меня к Лидии и обратно. — Мисс Уолтер — на переднее, если хочет, на заднем сумка с мячом Честера и там пахнет раздевалкой.

— Мы оба сзади, Гаррик.

— Оба сзади, конечно, глупо с моей стороны, целиком моя ошибка, — выдал Гаррик с интонацией человека, который в жизни не сделал ни одной ошибки, и окно поднялось, а Лидия издала в воротник звук, который был смехом в маскировке.

Дорога домой шла по переулкам с включёнными обогревателями и гаснущим светом над изгородями, и где-то после второго поворота её рука пересекла сиденье между нами и взяла мою — всеми пятью пальцами, без звеньев, без мизинцев, полная дневная хватка, смелая, как медь, при свидетелях только Гаррике и футбольной сумке.

Я смотрел в окно на медь, уходящую из неба, и один раз провёл большим пальцем по её костяшкам. Никто из нас не сказал ни слова всю дорогу и тишина была самой громкой

вещью в машине.

Её калитка подошла слишком быстро, как всегда.

На пересадке она сделала пересадку — маленькую укладку лица на место, которую делала у этой калитки каждый день своей жизни: день складывается в своё отделение, стена растёт кирпич за кирпичом, и я смотрел, как это происходит с бордюра, как смотрел восемь лет, и держал дверцу машины, как персонал очень маленького посольства.

Но сегодня, в последнюю секунду, на полпути по дорожке, она обернулась.

— В пятницу, — крикнула она назад, через холод, через гравий, перед Гарриком, небом и всей слушающей улицей. — Ты сказал — первой. До речей.

— *До всего*. — подтвердил я кивком.

— Ладно. — калитка приняла её, но ухмылка вырвалась первой, сбежала через плечо, без охраны, на полной мощности — лампочка на гирлянде где-то бросает свет на стену. — Держи пальто, Фриман!

НИКОМУ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ

Лидия

30 ноября 2012 года

Дым нашёл нас на вершине тропы раньше, чем сама вечеринка.

Ноябрьский воздух, запах костра и холодной грязи, а где-

то под всем этим — глухой удар басовой линии, который шёл сквозь землю, как второе сердцебиение. Оливия вцепилась мне в руку обеими руками по дороге вниз в темноте и прошипела:

— Мы врываемся на вечеринку старшеклассников, Уолтер. Мы теперь такие девчонки. Это обряд посвящения. И, возможно, преступление.

А у меня сердце колотилось от нервов, от холода и от чего-то ещё, что я принесла с собой в сумке и отказывалась называть.

Поле внизу холма открылось как тайна. Костёр и правда был размером с маленькую церковь — точно как обещали. Оранжевые искры лезли к низким облакам, а вокруг него толпилось, кажется, всё старшее отделение школы с пластиковыми стаканами сидра и светящимися палочками. Звуковая система размером с шкаф ухала со стола-подставки у амбара, генераторные кабели ползли по траве, будто всю ночь специально провели под музыку. Кто-то натянул гирлянды между двумя столбами. Чей-то старший брат уже культурно блевал за живой изгородью. Это было, во всех направлениях, плохой идеей с гирляндами. А мне было пятнадцать и я никогда в жизни не бывала нигде подобном.

— Вот они, — сказала Оливия и указала всей рукой.

Наша компания заняла дальний угол, как посольство. Бэйтс нацепил светящиеся палочки на оба запястья и ещё одну на шею и вёл спор с тюком сена. Джейкоб стоял у кост-

ра, руки в карманах и умудрялся выглядеть так, будто ждёт автобус, что бы ни творилось вокруг. Каталина сидела на тюке, пальто застёгнуто до горла, глаза медленно скользили по толпе, как учёный у аквариума. А Дэйвон уже собрал на себя четыре куртки. Он сидел посреди них, как в гнезде, капюшон натянут, и наблюдал за всем. Через всё поле он поднял два пальца — пограничник, проверяющий паспорт.

— Они здесь! — проорал Бэйтс так, что три головы старшеклассников повернулись. — Делегация прибыла. Оливия, Лидия, добро пожаловать на поле Уитлока. Сегодня будет исторический вечер. Есть костёр, есть музыка, есть парень, который уже потерял ботинок, а ещё даже не девять. Сезон только начинается и всё возможно.

— Сколько у тебя ботинок, Бэйтс? — спросила Оливия.

— Пока один. В пользу старших. Но ночь длинная. — он пошёл с нами, мягко светясь на запястьях. — Ориентация. Костёр — центр, всё расходится от него. Напитки у амбара, очередь короче, если идти мимо «блевательной» изгороди. Не ходите мимо «блевательной» изгороди. Музыка наша до десяти, потом старшеклассники заберут и станет, с уважением скажу, хуже. А Фриман ещё не здесь. Его матч затянулся. У Дэйвона есть разведданные.

Я посмотрела на гнездо из курток. Дэйвон чуть приподнял подбородок и подтвердил, не дожидаясь вопроса, голос ровно пробивался сквозь шум:

— Матч округа. Дополнительное время. Отец везёт его

прямо оттуда, как только закончат. — его голубые глаза скользнули ко мне, читая меня так же, как читали с серого школьного двора. — Он едет, Уолтер. Сказал: «первый пункт повестки». Его слова дошли через меня в перерыве.

Первый пункт повестки, — подумала я и убрала слова куда-то в тепло внутри. Сказала впадине в груди успокоиться: *он едет*. Он сказал это на парковке, где гравий слушал. А Честер Фриман за восемь лет ни разу не сказал мне ничего, чего потом не сделал.

После этого ночь нас подхватила.

Сам Уитлок нашёл нас у амбара — высокий шестиклассник с уверенной тоской мальчика, чьи родители в Биаррице. Он разливал что-то из бутылки в ряд маленьких пластиковых стаканчиков с церемониальностью человека, раздающего причастие.

— Десятый класс, — сказал он, глядя на нас, как на погоду. — Живёте опасно. В основном сок, — добавил он голосом лжеца и протянул два стакана.

Оливия взяла свой, будто это экспонат музея. Я взяла свой, потому что всё моё тело прибыло на это поле на волне нервов, холода и ожидания. Стаканчик был маленький и пах собственным костром. Я посмотрела на Оливию. Оливия посмотрела на меня. Какой-то договор, старше нас обеих, был подписан кивком.

— Один раз, — произнесла она. — Один. Ради журналистики. Ради опыта самой вещи.

— За опыт, — согласилась я.

Мы опрокинули их вместе.

Огонь.

Это всё моё показание. Горло вспыхнуло, глаза заслезились, я кашлянула в собственное запястье, а ожог продолжал идти вниз, сквозь грудь, растекаясь теплом внизу, как уголёк, брошенный в колодец. Рядом Оливия издала звук, будто умирающий чайник, и схватила меня за руку.

— Моё лицо, — прохрипела Лив. — Я берегла это лицо пятнадцать лет, а оно горит. Это атака. Это сок из лжи!

— Ещё, — услышала я собственный голос, ещё до того, как первый дошёл до конца.

Уитлок засмеялся где-то сверху, стаканы снова наполнили. Второй пошёл легче, третий ещё легче. Где-то около второго или третьего поле начало размягчаться по краям, басовая линия вышла из земли и поселилась у меня в рёбрах, и всё стало тёплым и очень, очень смешным.

Вступительные аккорды следующего трека ударили из больших колонок, и Оливия закричала:

— Я знаю эту! Уолтер. Я знаю эту!

Она буквально втащила меня в пространство перед костром, где люди уже двигались — грубый круг грязи, ставший сегодня танцполом. **Black Eyed Peas** объявили, что сегодня будет хорошая ночь. Я никогда в жизни не танцевала в поле. Водка сказала, что всё нормально.

И я танцевала.

Мы танцевали как идиотки. Где-то на чьём-то телефоне есть видео двух пятнадцатилетних девчонок, которые одновременно делают все движения со всех школьных дискотек последнего десятилетия — плохо, громко. Надеюсь, оно сгорит вместе с остальной историей. У Оливии руки были вверх. Мои волосы выпали из резинки где-то в первом припеве и так и остались. Припев говорил, что сегодня та самая ночь, и мы верили ему всем телом.

Вокруг круг грязи заполнялся, с одной стороны волны жара от костра, с другой — холод ночи. Быть пятнадцатилетней посередине того и другого ощущалось как самый центр мира.

Бэйтс присоединился к нам в середине второй песни сразу и навсегда снизил тон. Он танцевал, будто его ласково бьёт током, светящиеся палочки описывали смертельные дуги. Какая-то старшеклассница инстинктивно убрала напиток подальше от него. Он ткнул в неё пальцем и прокричал «Умно», не останавливаясь. Каталину втащили за запястье, она протестовала до последнего:

— Это против моей этики. Я наблюдатель и я на дежурстве!

Потом трек сменился, и что-то произошло с её клиническим лицом. Она сделала три полных секунды лучшего танца, который кто-либо из нас когда-либо видел — точный, грязный, уничтожающий.

— Этого не было. — Кат резко остановилась и ткнула во

всех нас пальцем. — Никто этого не видел. Наблюдения за Голдман остаются засекреченными.

— Это в дневнике! — проорала Оливия.

— Я сожгу дневник.

Джейкоб отказался от танцпола всем телом и вместо этого покачивался у костра — односторонне и с достоинством, человек, изображающий участие стоя. Время от времени его голова делала один-единственный намеренный кивок — для Джейкоба это было равноценно полной программе. А Дэйвон оставался в своём гнезде из курток и смотрел на всех нас, на всех, медленным обзором за разом. Когда я поймала его взгляд где-то в третьей песне, он поднял стакан в мою сторону. В нём была вода. В нём всегда была вода. И что-то в этом заставило меня громко рассмеяться прямо посреди припева.

Это был пик. Я знаю это сейчас, глядя вниз с холма всей той ночи. Это была высшая точка дуги — третья песня, тепло насквозь, костёр красил всех золотом. Я повернулась к входу с тропы, чтобы разделить это с тем, с кем делила всё.

Вход с тропы был тёмным. Машины, силуэты, старшеклассники, входящие и выходящие с ящиками. Никаких золотых волос. Никакой спортивной сумки через плечо. Никакого высокого силуэта у ворот, который медленно осматривает поле и находит меня за три секунды, как он всегда… Ворота оставались тёмными до конца припева и в следующую песню, и что-то в груди опустилось на этаж ниже.

Он едет, — напомнила я себе, покачиваясь с поднятыми руками. — *Первый пункт повестки. Его слова дошли через Дэйвона в перерыве. Честер Фриман за восемь лет ни разу не сказал мне ничего, чего потом не сделал.*

Но у водки было своё мнение. Мнение водки было таким: тропа очень тёмная и очень пустая, и я стою в холодном поле и жду ещё с первой песни, а арифметика ожидания ни разу в моей жизни не складывалась в мою пользу, так почему сегодня должно быть иначе.

К середине второго куплета я уже танцевала на вечеринке, а не в ней — выполняла движения, а глаза каждые восемь счетов скользили к воротам.

Посреди песни лицо Оливии оказалось прямо передо мной — близко, озабоченное, светящаяся палочка делала его зелёным по краям.

— Эй. Эй, Уолтер. Куда ты ушла? Ты только что пропала. У тебя было то лицо.

— Я здесь. Я танцую. Посмотри, сколько я танцую.

— Ты танцуешь в сторону ворот. — она проследила за моим взглядом, поймала его и поняла сразу. — Он едет. Дэйвон сказал. Фриман не говорит того, чего не делает. Это, типа, задокументировано. Это в дневнике и целая глава.

— Я знаю.

— Тогда перестань засекать ворота, детка. Потому что Каллахан Нэш идёт сюда, у него ящик и у ящика есть планы.

Ящик, действительно.

Где-то в смене песен толпа у амбара поредела, и стол причастия Уитлока стоял открытый с короткой очередью. Мои ноги понесли меня туда с планом, который я не утверждала. Ещё два маленьких стаканчика. Таков был приказ. Первый пошёл вниз, и ожог уже выучил моё имя — пришёл тёплым, а не жестоким, устроился на дне, как уголёк в камине. Второй я унесла с собой в темноту и выпила на ходу. Поле размягчилось ещё сильнее по краям, басовая линия полностью переселилась в рёбра и обосновалась там.

Тепло, — рассуждала я вслух ни для кого, глядя, как крутится костёр. — *Алкоголь — это тепло. В России это знают. Я, по сути, становлюсь русской.*

— Уолтер. — ровный голос из гнезда курток, прорезавший всё, как всегда. — Темп. Это всё, что я скажу. — Капюшон Дэйвона повернулся на градус в мою сторону, огонь поймал край лица. — Ты маленькая, у тебя уже четыре и ты съела хот-дог размером с палец.

— У меня три.

— Четыре. Я считал. — его капюшон снова повернулся к костру. — Считать — моя работа.

— Вы все сегодня карпатцы, — объявил Бэйтс, материализовавшись со свежими светящимися палочками, добытыми неизвестно как. Одну из них он торжественно надел мне на шею, как медаль. — Танцуй. Хватит ревизии. Уолтер, тебе дали медаль — веди себя соответственно.

Он утащил меня обратно к грязевому кругу. Колонки вы-

дали что-то с гитарным риффом, как бензопила, поле взревело, я была награждена — и танцевала.

Sex on Fire. **Kings of Leon**.

Каждый человек на том поле знал каждое слово — вот что такое большие песни. Сорок подростков выли припев в костёр, пока искры летели вверх, будто небо нам должно. И я выла вместе с ними неправильные слова в половине мест, правильные чувства во всех. Волосы были везде. Медаль светилась зелёным у горла.

Бэйтс прокрутил мимо меня Каталину, которая протестовала. Голова Джейкоба сделала свой единственный намеренный кивок у костра. Оливия сняла одиннадцать секунд для исторической летописи. И на целых отрезках — честных отрезках — я совсем забыла про ворота.

Потом песня закончилась и диджей дал тишине повиснуть на долю секунды слишком долго. В этой паузе я посмотрела и у ворот стоял человек.

Золотые волосы. Спортивная сумка через плечо. Грязь на одном колене брюк — настоящая матчевая грязь, грязь окружных испытаний. Он стоял у устья тропы, огонь доходил до него только до половины и делал медленный обзор — неторопливый разворот мальчика, который сначала проверяет поле на одну-единственную вещь, прежде чем делать что-либо ещё.

Три секунды. Я считала их пьяная, на пальцах, внутри. Один — обзор. Два — грязевой круг. Три — *я*.

Нашёл, — подумала я, и вся грудь вспыхнула, как костёр. — *Три секунды. Восемь лет — и он всё ещё на трёх секундах.*

И потом я уже двигалась, или музыка двигала, а рука Оливии на моей спине толкала обеими ладонями:

— Иди, давай, пока Нэш снова не предложил ящик.

Толпа между нами сама сложилась, будто ей за это заплатили. Он бросил спортивную сумку у столба где-то посередине. Я врезалась в него на полном спринте обеими руками, полным ударом. И он поймал. Конечно, он поймал. Он отступил на полшага по мокрой траве, сжал меня руками и принял весь заряд, как стена принимает погоду.

— Вот оно, — прошептал он мне в волосы, задыхаясь от чего-то, что не было спринтом. — Вот ты. Привет.

— Ты пришёл. Ты здесь. Ты опоздал, ты опоздал, ты сказал «первый пункт повестки», а я ждала сто лет. Там были песни, Чес. *Целые песни без тебя*.

— Дополнительное время. Два периода. Я только что прибежал с тропы. — его руки сделали инвентаризацию: спина, руки, волосы и остановились на медали. Он откинулся, чтобы посмотреть на светящуюся палочку на моей шее. — Тебя наградили.

— Бэйтс. За доблесть.

— Очевидно. — потом его руки поднялись и взяли моё лицо в рамку. Глаза прошлись по мне по-настоящему, вблизи, тщательно. Я видела, как в них пришёл отчёт: розовые щёки, глаза, покачивание, которое я сама чувствовала

в лодыжках. Вердикт вышел ровным и с трудом сдерживающим смех. — Лидия. От тебя несёт алкоголем. Ты пьяная.

— И что? — я подняла подбородок, применённый к мальчику, который держит моё лицо в поле. — Это что? Пришёл играть хорошего копа? Будешь читать лекцию про сок из лжи, офицер?

— Сок из лжи. — Чес приподнял бровь. — Что это значит?.

— Проехали. Тут все чудесные. Уитлок чудесный, костёр чудесный. — мои руки поднялись и нашли его лицо в ответ — обе, щёки, челюсть, лёгкая щетина матчевого дня. Я гладила его медленно, преданно, совершенно без разрешения и улыбалась вверх всем, что у меня было, а сейчас это было на девяносто процентов водка и на остальное — преданность. — Ты самый чудесный. Посмотри на тебя. Посмотрите на него! — я чуть пошатнулась и он удержал меня. — Кто выпустил тебя вот таким? Ик. — икота напала на меня посередине фразы, жестокая.

Его лицо вело войну с самим собой и проиграло, смех прорвался низкий и беспомощный.

— Не. — я икнула снова. — Не смейся надо мной, великан. Я не такая уж маленькая, это ты неразумный… ты фонарный столб с чувствами, я даже не могу… погоди. — я встала на цыпочки, закинула руки ему на шею и потянула, собираясь сказать остальное вблизи.

Цыпочки сделали всё, что могли, а я всё равно говорила

где-то в районе его ключицы, на дюймы не дотягиваясь до цели, напрягаясь, как женщина, достающая до верхней полки. Он смотрел на все эти усилия сверху с выражением глубокого, преступного спокойствия.

— Проблема?

— Ты угроза здоровью. Ик. Мне нужно, чтобы ты был ниже. Дело. У меня есть дело.

— Дело. — он наклонился, потому что он всегда наклонялся.

Я схватила его футболку спереди одной рукой, чтобы зафиксировать, и махнула указательным пальцем другой — *иди сюда*. Его ухо оказалось в зоне досягаемости. Басовая линия ухала дальше, сорок человек танцевали вокруг девочки, которая шептала фонарному столбу. И я сказала его уху то, что нужно было сказать.

— *Мой прекрасный мальчик*. — слова вышли водковым голосом — густым, тёплым и абсолютно настоящим, каждое из них, самое правдивое предложение, которое я произнесла при свете дня за всю свою жизнь. — Я никому тебя не отдам. Понял? Никому. Ни Манчестеру, ни Эксетеру, ни всему шестому классу, ни церковной девочке — никому. *Мой*.

Кулак в футболке потянул, его лоб опустился и встретился с моим с лёгким твёрдым стуком. Мы так и остались — лоб к лбу, моя рука сжата в его рубашке, наше дыхание делит один и тот же дюйм ноябрьского воздуха. Танцоры продолжали кружиться вокруг нас в свете костра, как река, обтекающая

камень.

Тишина от него. Хорошая и пугающая одновременно — та самая неподвижность, которую я знала с 2004-го и скамейки на сером дворе: мальчик принимает что-то огромное и осторожно ставит это внутрь себя.

— Это водка говорит, — выдавил он наконец хрипло, лоб всё ещё прижат к моему.

Я чувствовала слова так же, как слышала.

— Водка только почтальон. — моя хватка в его рубашке усилилась. Глаза были закрыты, голова приятно плыла, медаль светилась зелёным между нами. — Письмо настоящее. Я написала его годы назад. Просто… ик… ему нужен был курьер.

Обе его руки поднялись и закрыли кулак, которым я держала его рубашку — тёплые, огромные. Он не убрал его. Он держал. Держался за претензию обеими руками поверх моей прямо над сердцем, перед полем, перед сорока людьми, перед костром, перед дневником и всем гнездом курток Дэйвона.

— Тогда я распишусь за него трезвым. — когда он заговорил снова, появился тот нижний голос, тот, который был моим, прежде чем мир получил хоть что-то из него. — Оба трезвые, Лид. Это правило, которое я прямо сейчас выдумываю на месте. Без апелляций и поправок. — его лоб оставался прижат к моему, пока он это произносил.

Басовая линия продолжала бить где-то под рёбрами рядом

с водкой. Я обдумала постановление со всей юридической тяжестью четырёх шотов и светящейся медали.

ТАКИЕ ДРУЗЬЯ
Честер
30 ноября 2012 года
The Neighbourhood — A Little Death

Грязь с матча графства всё ещё сохла у меня на голенях, когда папина машина остановилась наверху переулка, и вечеринка заявила о себе с полполя через землю. Бас. Его чувствуешь ногами раньше, чем ушами, и я секунду постоял у калитки со спортивной сумкой через плечо и холодом, пробивающим матчевую футболку, делая то, что делал с семи лет в каждой комнате, каждом дворе, каждом зале, где в этом городе собиралась толпа.

Искал её.

Поле открывалось ниже живой изгороди, костёр размером с небольшую церковь, искры летели вверх, сорок-пятьдесят тел двигались между огнём и звуковой системой, сложенной на поддонах, светящиеся палочки повсюду, словно вся ночь покрылась сыпью. Слишком много голов. Слишком много движения. Я всё равно начал обход — медленный, неторопливый, от калитки к костру, от костра к сараю, — и был уже на втором круге, когда толпа перед пламенем сдвинулась, как занавес, и вот она.

Танцевала.

Это слишком щедрое слово для того, что происходило. Она стояла где-то посреди грязного круга с распущенными волосами и поднятыми руками, исполняя движение, которого до сегодняшнего вечера не существовало и которое, будем надеяться, больше никогда не повторится. Рядом Оливия делала его столь же незаконную версию, а свет костра забрался в волосы Лидии и превратил всю эту светлую беспорядочную массу во что-то из рекламы. Она смеялась ни над чем и надо всем сразу, запрокинув голову, освещённая изнутри и снаружи.

Моё сердце вспыхнуло, как тот костёр. Без предупреждения, без совещания. Просто рёв в груди с моим именем на нём и я стоял у калитки в ноябре с грязью на коленях и понял — не в первый и не в последний раз, — что я мальчик с одной-единственной преданностью, и эта преданность плохо танцует в поле.

Вот ты где, — подумал я. *— Три секунды, Лид. Как всегда.*

Я даже шагу не успел сделать. Она, должно быть, почувствовала движение толпы так же, как и я, потому что её голова повернулась прямо в середине движения, и глаза нашли калитку так, как компас находит север. И вся пьяная яркость её лица обрушилась на меня через сорок футов огня, она прокричала моё имя на всё графство и побежала.

Удар едва не отправил нас обоих в забор. Полный спринт,

обе руки, никакой тормозной системы и я поймал её, отшатнулся на полшага, зафиксировал, а она уже говорила, ещё не касаясь ногами земли, тёплый поток: ты пришёл, ты опоздал, там были песни… Её руки были на моём лице, мои — на её, медаль-светяшка на шее отбрасывала зелёный свет между нами. От неё пахло дымом, водкой и холодным воздухом, глаза блестели, слова на краях расползались.

А потом она сказала подойти ближе, потянула за рубашку, прижалась ртом к моему уху, назвала меня *своим красивым мальчиком* и сказала, что *никому меня не отдаст*. Мой лоб опустился к её, потому что ноги приняли это решение единолично, и я стоял посреди вечеринки с кулаком пьяной девчонки, сжавшим рубашку над моим сердцем, совершенно неподвижный, принимая самую большую посылку своей жизни.

— Водка только почтальон, — сказала Лид, закрыв глаза и покачиваясь. — Письмо настоящее. Я написала его годы назад. Ему просто нужен был курьер, — она икнула.

— Тогда я распишусь за него трезвым, — ответил я. — Оба трезвые, Лид. Это правило, которое я прямо сейчас выдумываю на месте. Без апелляций и поправок.

— Это бюрократия, Фриман.

— Это романтика с системой регистрации.

Чего я не сказал, потому что годы любви к ней научили меня, что носить тихо: что я бы стоял у этой калитки до весны, принимая именно такую посылку, и спрятал бы оригинал

где-то за рёбрами, где ещё никогда ничего не терялось.

Вытащить её с вечеринки потребовало дипломатии. Она хотела остаться на следующую песню и на ту, что после, и показать мне парня, который потерял ботинок. Каждая из этих заявок сопровождалась свежей икотой, а икота становилась всё чаще, и я уже один раз сегодня вечером был пятнадцатилетним, дважды, и знал расписание желудка лучше, чем она.

Поэтому я правил. Рука вокруг её талии, как бы между прочим, навигируя, история про место потише, подальше от колонок, где звёзды делают что-то стоящее внимания. И Лиди пошла, потому что всегда шла, следуя за моим голосом из толпы с тех пор, как мы ещё не умели нормально писать.

Тихое место оказалось упавшим бревном за «больной изгородью», вне досягаемости огня, спиной к старой каменной стене. Шум поля долетал откуда-то издалека, как погода из другой страны. Мы сели плечом к плечу, её небольшой вес прижался к моей руке и на минуту стало почти спокойно: её голова свалилась мне на плечо, костёр светился далёким оранжевым пятном, а её голос медленно и мило бродил о том, что сок Уитлока — ложь, и что лицо Оливии загорелось. А потом бродяжничество оборвалось.

На полуслове.

— О, — Лид села прямо.

— Что.

— О нет. Чес. Чес, я сейчас…

Она сделала два шага от бревна в темноту, прежде чем же-

лудок вынес свой вердикт вечеру, и я уже был рядом, прежде чем первое попало на траву. Я сделал единственную работу, которую нужно было сделать. Одна рука собрала всю светлую массу её волос с лица и держала кулаком, мягко, а другая легла плоско между лопатками. Она рвала и рвала снова, совершенно жалко, маленькая пьяная девочка, которой плохо в изгородь на вечеринке. А я держал ей волосы, гладил спину медленными кругами и говорил низко и ровно — тем голосом, который снимал её с каждого уступа, на котором она когда-либо стояла.

— Вот так. Давай. *Вот моя девочка*. Вот так, выпускай всё, я с тобой. — приговаривал я снова и снова, скорее ритм, чем слова, кулак с волосами осторожный, рука на спине твёрдая через каждый спазм. — Всё хорошо. Я с тобой, Лид.

Шаги по мокрой траве, неспешные, вышли из темноты, и Дэйвон материализовался с бутылкой воды и комком салфеток, словно человек, который с заката держал открытой линию снабжения.

— Следил за этим час, — он присел и передал всё без церемоний. — Четыре шота на хот-дог. Я посчитал. — его глаза один раз прошлись по её склонённой голове, потом по мне и что-то в плоскости его лица чуть ослабло. — Изгородь твоя, пока не закончит. Никто не проходит мимо больной изгороди, это закон поля, я уже троим сказал. — он поднялся и последняя фраза донеслась уже из темноты: — У тебя

хорошо получается, Фриман. *Голос*. Всегда получалось.

Он ушёл и остались только мы двое, изгородь и эта ужасная работа.

Когда всё закончилось, она ещё долго оставалась согнутой, одной рукой держась за каменную стену, дыша маленькими осторожными глотками. Я намочил салфетку, присел перед ней и доделал остальное. Рот вытер аккуратно, без комментариев, так, как моя мама делала мне однажды и не превратила это в событие. Бутылку с водой открыл и вложил ей в руку.

— Маленькими глотками. Не залпом, а то сразу вернётся.

Она сделала маленький глоток. А потом начался плач из ниоткуда, как бывает у пьяных, без разгона. Её лицо смялось, как мокрая бумага. Она позволила мне отвести её обратно к бревну, посадить, а потом развернулась и зарылась лицом вбок, носом мне в шею, и осталась там, всхлипывая в воротник.

— Я такая тупая. — сдавленно, глухо, мокро всхипывала она, икая сквозь слова. — Я такая тупая девчонка, Чес. Я выпила целую… я танцевала как… и я сказала вещи, я сказала вещи у костра, а теперь меня стошнило в изгородь, как… как… — ее предложение утонуло. — Тупая. Девчонка.

— Это неправда. — я обнял её по-настоящему, всей её разбитой тяжестью к своим рёбрам и сказал ей в волосы ровно, неторопливо, тем голосом, который ни разу ей не лгал и не собирался начинать в поле. — Это водка говорит, а водка

— идиотка. Ты самая умная девочка, которую я знаю, Лид. Самая умная девочка, которую я когда-либо встречал, на самом деле, и это даже не близко. И дело не только в математике, которую ты можешь сделать, а в том, как ты всё видишь, как никто ничего мимо тебя не проведёт, ни разу, никогда. — её всхлипы продолжались у меня на шее, и я продолжал, медленно, укладывая кирпич за кирпичом. — Ты выпила четыре стакана на своей первой вечеринке и выучила урок за одну ночь. Это не тупо, это эффективно. Есть взрослые мужики, которые до сих пор не выучили. Есть один в шестом классе, которому сейчас плохо с большим достоинством, чем умом, и он сделает это снова в следующем месяце.

Мокрый, дрожащий смешок прорвался сквозь плач, глухо у меня в шее, и я скорее почувствовал его, чем услышал. *Я бы разжёг сто костров, чтобы почувствовать это снова*.

— Тупая девчонка, — пробормотала она, но уже мягче, сдавая предложение.

— *Моя девочка*, — сказал я, прежде чем успел остановиться, и просто оставил это стоять, потому что это было правдой, а она слишком пьяна, чтобы подать жалобу, и завтра я бы всё равно отрёкся.

После этого она затихла. Плач догорел, как костры, до тёплых углей и мы сидели на бревне в одном клубке, моя рука вокруг неё, её лицо у моей шеи. Вечеринка шла без нас через поле, бас шёл через землю, костёр красил нижнюю сторону облаков, а её дыхание замедлялось у моего воротника

— длинные, осторожные глотки воздуха, девочка, собирающая себя заново, вдох за вдохом.

— С тобой так хорошо. — вышло у неё сонно, наполовину мне в кожу. — Всё так хорошо с тобой. Даже то, что меня стошнило, было… нет, это не было хорошо, но остальное. Остальное было. — ее нос прижался ближе и она вдохнула у меня на шее, как сомелье с претензией. — И ты так прекрасно пахнешь. Ты всегда прекрасно пахнешь. Даже после матча. Даже после дополнительного времени, которое по сути два матча, ты пахнешь… — ещё один вдох от неё, преданный, бесстыдный. — Это мой любимый запах. Ты знал? Это мой любимый запах во всём мире, а я нюхала много чего: церкви, море, Рождество и ты побеждаешь, Фриман. Ты побеждаешь в запахе.

— Принято к сведению, — улыбка совсем ускользнула от меня, там, в темноте, где она не могла её проверить. — Рецепт оставлю в секрете.

— Только не вздумай его менять. Если когда-нибудь запахнешь по-другому — я замечу. Замечу сразу и будут вопросы.

Через поле диджей сдался с тем, что играл, и началось что-то новое, более медленное, доносившееся из темноты на расстоянии, которое его смягчало: низкий пульс и голос, как дым. Я почувствовал, как она это зарегистрировала у меня на шее, так, как чувствуешь, когда у кошки поворачивается ухо.

Строка донеслась к нам через изгородь, где мы сидели спутанные на бревне в руинах договора.

Touch me, yeah.

Она подняла голову с моей шеи.

Медленно, неуверенно, словно что-то поднимающееся из воды, и её глаза нашли мои в темноте примерно в четырёх дюймах, широкие, пьяные и блестящие. Музыка легла на всё поле и никто из нас ни на дюйм не отодвинулся. Бас шёл через бревно. Её рука всё ещё сжимала мою футболку с тех пор, я понял — она так и не отпустила её, уже часы, — а моя рука всё ещё была вокруг неё.

Расстояние между её ртом и моим было страной, на которую ни у кого из нас не было паспорта, а песня тихо продолжала доказывать свою правоту через изгородь. Её глаза опустились к моему рту и снова взлетели к глазам. И я видел, как она решает, наглядно, с огромным пьяным усилием, быть хорошей.

Мы не целуемся, — вспомнился мне закон, стена вокруг страны. *— Не при свете дня. Не у бассейнов. Не трезвыми, и упаси бог, уж точно не пьяными.*

— Мы должны… — начала Лидия и запнулась, её лоб наклонился вперёд, пока не упёрся в мой. — Мы не целуемся. — её дыхание было тёплым от водки и неровным между нами. — Я хочу, чтобы это было зафиксировано: мы не целуемся.

— Зафиксировано. Мы не целуемся.

— Это просто… близость. Ответственная близость.

— Крайне ответственная, — согласился я и моя рука поднялась и обхватила затылок, я медленно провёл кончиком носа вдоль её переносицы, один раз, два, и её глаза закрылись, и из неё вырвался маленький звук, которого никогда не было ни в одном из моих воспоминаний.

— Честер.

— Мм.

— *Сделай так ещё раз.*

И я сделал снова, медленнее. Она повернула голову на градус и сделала мне то же самое, наши носы скользили друг по другу в темноте, как самая целомудренная катастрофа в мире. Песня играла, её кулак в моей рубашке сжался туже, моя рука в её волосах держала её ровно там, где она была, а пространство между ртами оставалось страной и никто её не пересекал.

И это каким-то образом было самым не-поцелуем, который кто-либо когда-либо делал за всю историю мира. Её другая рука поднялась и нашла сторону моего лица, просто легла там, ладонь к челюсти, держа, так, как я однажды держал её на парковке. Мы дышали общим воздухом и слегка покачивались на бревне, пока пятьдесят человек танцевали, согреваясь, через поле.

— У тебя сердце колотится, как поезд, — прошептала она, глаза всё ещё закрыты.

— Ты в нём. Такова пассажирская ситуация.

— Мм. — её маленькая пьяная улыбка появилась в дюйме между нами. — Хорошее место.

Песня стихала через изгородь, шум поля за ней сместился, и заклинание сделало то, что делают заклинания: ослабло, а не порвалось. Она позволила голове склониться набок и снова опуститься мне на плечо, и я почувствовал, как смех начинается у неё в рёбрах, прежде чем дошёл до рта.

— Что.

— Ничего. Просто… — она фыркнула, слабо, беспомощно, мне в плечо. — Эта песня. Вся эта чёртова песня. А мы сидели на бревне и тёрлись носами, как пара… как хомяки, и это всё равно было самым… — смех снова захлестнул её, качаясь, уже другие слёзы. — Боже. Мы такие *друзья*.

И это сломало нас обоих. Я первым или она — не разобрать, но смех поднялся из меня откуда-то из-под ботинок, и мы сидели на том бревне в темноте, тихо воя вместе, разбитые, её лоб у моего плеча, моя рука держит её.

И это не было смешно — вот в чём дело — это было самой несмешной вещью, которая когда-либо случалась, и одновременно самой настоящей фразой, которую любой из нас сказал за всю ночь.

— Такие *друзья*, — выдавил я со свистом.

— *Самые такие*, — согласилась она, утирая глаза тыльной стороной ладони, а потом замерла у моего плеча. — Чес. — её голос вышел тише, отрезвлённый по краям смехом. — Письмо всё ещё настоящее, знаешь. Даже после изгороди.

Даже после хомяков.

— Я знаю, что оно настоящее. — я прижал рот к макушке её головы. — Я берегу его тёплым, пока ты не сможешь передать его, стоя прямо. Бери столько времени, сколько нужно. Я хорош во времени.

— Я знаю. — она зевнула и зарылась мне в бок, как животное, устраивающееся на зиму, а медаль-светяшка погасла у меня между рёбрами. — Лучший официант, которого я знаю.

— Пошли, Уолтер. — я поднял нас обоих с бревна, её — понемногу, направляя и поддерживая, и медленно повёл обратно к огню, к курткам и к звонку домой, который будет стоить мне недели карманных на обязанности. — Сначала вода. Потом найду Оливию. Потом отвезём тебя домой до одиннадцати, потому что условия моей матери были конкретными, а в этом мире есть силы страшнее шестиклассников.

— Нет таких.

— Ты никогда не видела Лилисию Фриман у кухонного окна в одиннадцать ноль одну, — сказал я и она засмеялась, опираясь на меня всю дорогу.

Моя девочка, моя такая подруга, её письмо тёплое у меня на сохранении.

— Вот они! — Бэйтс заметил нас и его голос взвился над всей вечеринкой, как у городского глашатая. — Парни. Парни. Делегация возвращается.

Свет костра вернул нас так же, как тьма отдала её, и всё

внимание вечеринки качнулось в нашу сторону на силе лёгких одного мальчика.

— Он нашёл её, — объявлял Бэйтс всем, кто ещё держался на ногах, обе руки раскинуты, как у кольцевого. — Дамы и господа, восемь лет полевых спасений — и он ни разу её не потерял, я проводил исследования, у меня дома есть график. Фриман! Доклад! Какова была ситуация, была ли она тяжёлой, танцевала ли она, я слышал, что танцевала, кто-то сказал, она сделала движение, которого никто никогда не видел и никто никогда больше не увидит, это правда, Уолтер, моргни дважды, если движение вымерло.

— Вымерло, — сумела она из-под моей руки и слово качнулось, но приземлилось.

— Трагично. Историки будут скорбеть. — Бэйтс зашагал рядом с её свободной стороны, светясь на запястьях, мягко направляя всех нас к столу. — Кстати, счёт ботинок — три, большая ночь для ног. Нэш потерял один с сенных тюков, а шестиклассник потерял два, споря с калиткой, так что калитка выигрывает по сумме. В любом случае, ты выглядишь ужасно, Уолтер, выглядишь прекрасно, но ужасно, это из-за сока? У сока Уитлока уже есть история, это по сути контролируемое вещество, у Оливии вся хронология в дневнике.

Оливия материализовалась из толпы с уже открытым блокнотом и большим пальцем, держащим страницу.

— Хронология, да, но хронология может подождать. — её глаза сделали обход: волосы, медаль-светяшка, бутылка во-

ды, сжатая обеими руками, общее состояние её лучшей подруги. — На сегодня с ней всё. Чес, ты провожаешь её домой?

— Провожаю. Мы оба уже в беде: она — за состояние, я — за часы.

— Тогда дневник получит остальное завтра. — блокнот закрылся, Лив наклонилась и чмокнула Лидию в щёку и сказала ей на ухо что-то, что я оставил приватным.

Рука Лидии нашла рукав Оливии и сжала, это был весь разговор, проведённый двумя жестами, пока вокруг ревела вечеринка.

Джейкоб появился на краю света с поднятым воротником и нетронутым терпением — человек, который посетил полевую вечеринку так, как посещают похороны: из уважения к покойнику.

— Так, итог для протокола, раз уж я единственный функционирующий свидетель. Бэйтс упал в больную изгородь, что поэтично. Каталина танцевала три секунды, это правда, это случилось, мы никогда об этом не будем говорить. Бак не опрокинули, что для одного из наших мероприятий — настоящий рекорд, а Дэйвон собрал девять курток, что тоже рекорд, никто не знает, где он нашёл девять курток, никто не спрашивает. — он посмотрел на Лидию как следует, при свете, и его ровный голос стал на оттенок ровнее, что для Джейкоба было беспокойством. — С ней всё в порядке?

— Будет. Четыре шота на хот-дог. Арифметика Дэйвона.

— Четыре. — медленный выдох через нос, самое близкое, к чему Джейкоб Блейк когда-либо подходил к гримасе. — Я однажды сделал четыре. В девятом классе. Мне говорили, я двадцать минут извинялся перед мусорным баком. Он был хорошей аудиторией. — его сухой юмор прибыл без улыбки где бы то ни было рядом. — Скажи ей, что бак в конце концов меня простил. Это переживаемо, вот в чём смысл. Пойдём, я провожу вас до калитки, мой отец ждёт наверху переулка и всё равно захочет доказательства жизни.

Каталина возникла из ниоткуда с двумя завёрнутыми в фольгу штуками откуда-то и вложила их Лидии в свободную руку без комментариев.

— Булочка. Впитает остальное. — её клинический взгляд сделал обход, сканировал её состояние и смягчился на один градус. — И танцы были хорошие, Уолтер, до финальной части. Тебе стоит делать это чаще на мероприятиях с меньшим числом свидетелей. Спокойной ночи. — она исчезла, прежде чем можно было организовать благодарность, обратно к тюкам и своей дистанции, а Лидия стояла, держа фольгированную булочку, как медаль другого рода.

Дэйвон уже был у калитки, когда мы туда добрались: девять курток распределены или брошены, капюшон спущен, руки в карманах, держит последнюю вахту. Он открыл рот, посмотрел на Лидию, опиравшуюся на меня, закрыл его и вынес вердикт ровным голосом вместо этого.

— Вода в ней всю ночь. Хлеб перед сном. Спать на боку.

— выдал он неторопливо, чек-лист передан как эстафетная палочка. — Напиши в чат, когда она будет внутри. Я подтвержу остальным. — его глаза один раз прошлись между нами двумя и что бы он ни подшил, ушло в какой бы кабинет он ни держал. — Хорошая ночь для этого, Фриман. Ты нашёл её за три секунды.

— Как всегда.

— Мм. Это число никогда не изменится. — он отступил, пропуская нас через калитку, и шум поля закрыл его, а Джейкоб отделился у калитки поднятой рукой, и потом остались мы двое в переулке, и темнота, и дорога.

Она продержалась примерно двести ярдов на достоинстве, прежде чем достоинство кончилось, и я в итоге наполовину нёс её: её рука через мои плечи, моя — вокруг талии, её ноги делали всё возможное маленькими подскоками между моими шагами. Переулок был грязью и звёздным светом и далёким стуком умирающей за нами вечеринки, а она напевала что-то — плохо, вероятно песню с бревна, — и съела половину булочки вопреки медицинским советам и предложила мне остаток, который я взял, потому что отказывать ей в чём-либо на этом этапе ночи было битвой, которую я не собирался выигрывать.

— Ты однажды нёс меня в гору, — сказала она у серединного дерева, ни к селу ни к городу, что нашёл её рот.

— Восьмой класс. Ты подвернула лодыжку в походе за дровами. Полмили.

— Ты даже не жаловался.

— Ты издавала раненый звук. Жаловаться в этот звук невозможно, это как освистывать раненую птицу.

— Я теперь раненая птица?

— Ты раненая птица, которая выпила четыре шота и съела полбулочки, да, и я провожаю птицу домой до одиннадцати, потому что в конце этого переулка есть женщина, которая стоит у кухонного окна с десяти пятидесяти.

Смех вышел из неё боком и она прислонила всю голову к моему плечу на три шага, а медаль-светяшка наконец погасла у неё на шее, ушла во тьму где-то по дороге, и никто из нас не заметил, когда.

Телефон завибрировал в десять пятьдесят восемь — весь стиль общения моей матери в одном сообщении: *Окно. Сейчас*.

— Она печатает заголовками, — сказала Лидия, читая его вверх ногами с моей руки.

— Она делает заголовки из заголовков. Давай, последний отрезок, ты можешь выдержать достоинство на сто ярдов, я видел, как ты это делаешь.

Она выдержала достоинство примерно на сорок. Последние шестьдесят провела, шепча изгороди про вечеринку шёпотом, который я притворился, что не слышу, а потом перед нами оказалась калитка и свет крыльца был включён, что означало: переговоры были заранее санкционированы на самом высоком уровне, и дверь открылась, прежде чем моя ру-

ка её коснулась.

Лилисия Фриман стояла в дверном проёме в халате, как маяк в кардигане, и её глаза прошли по Лидии с головы до ног одним отработанным взглядом: труп светящейся палочки, грязь, бутылка воды, вся её разруха, и приземлились на меня с выражением, которое уже написало весь завтрашний разговор.

— На кухню, — сказала мама. — Оба. Сейчас.

Тепло взяло Лидию на пороге и мама усадила её за остров и поставила перед ней воду, прежде чем пальто было снято, тост уже шёл в слот, одеяло вокруг плеч — всё это одним непрерывным движением, словно женщина, которая пятнадцать лет репетировала именно эту ночь. Допрос, когда он пришёл, пришёл мягко, поверх тоста.

— Четыре шота. — мама сказала это так, как другие женщины говорят «налоги». — На хот-дог. Лидия, милая, ты завтра утром снова почувствуешь весь этот вечер и я хочу, чтобы ты знала: когда это случится, у меня есть парацетамол и хорошее сочувствие, и я держу оба в резерве до востребования.

— Прости… мамуля Ли. Ик…

— Ты будешь прощённой. В основном около восьми утра. — тост выскочил с маслом, которое никто не просил, и рука мамы легла на макушку Лидии — один медленный поглаживающий жест, самая старая вещь во всём её репертуаре. — Съешь это, выпей это, а потом в постель, твоя комната все-

гда застелена, ты знаешь дорогу, знаешь с одиннадцати лет. — мамино поглаживание повторилось и её глаза поднялись ко мне над светлой головой, взгляд в них был всем картотечным шкафом: всё, что она когда-либо замечала и никогда не говорила, удержанное и тёплое. — Ты сделал штуку с волосами.

— Её стошнило в изгородь, мам. Волосы надо держать. Это в инструкции.

— Мм. — ещё одно поглаживание от неё и халат зашуршал, когда она повернулась к лестнице. — Гостевая комната, обе двери на дюйм, правила дома, и Честер, стакан с водой доливается в полночь, я услышу или нет — это на твоей совести.

Потом остались мы двое, тишина, тост и лестница не торопилась.

Её комната была тёмной, со звёздными занавесками и я довёл её до края кровати. Она села с одеялом всё ещё на плечах, как королева в изгнании, и посмотрела на меня — разбитая, светящаяся, пятнадцатилетняя — и похлопала по матрасу рядом с собой, приглашение, которое я отклонил, сев вместо этого на пол, спиной к каркасу кровати. Её рука нашла мои волосы без всякого обсуждения, пальцы начали своё медленное занятие.

— Чес.

— Мм.

— Письмо. Завтра я скажу, что это была водка. — ее паль-

цы замедлились, но не остановились. — Я так делаю. Ты знаешь, что я так делаю.

— Знаю.

— Но ты будешь знать. Ты будешь знать, что это не она. — пальцы Лид остановились и рука опустилась, легла мне на макушку — тёплая, ничего не весящая, весящая всё. — Потому что ты хранишь вещи. Ты хранишь каждую-единственную вещь.

— *Каждую-единственную*, — согласился я и повернул голову, прижав уголок рта к внутренней стороне её запястья.

— Спокойной ночи, *красивый мальчик*. — одеяло сползло, когда она легла горизонтально, и голос уже уходил под воду, густой и медленный, последняя дань водки. — *Такие друзья*.

— *Самые такие*, — сказал я и натянул одеяло ей до подбородка, а медаль-светяшку отправил в корзину у стола, стакан с водой — на тумбочку и сел на пол у её кровати, руки на коленях.

Я слушал, как её дыхание становится длинным, и делал обход всей ночи так, как отец делает обход дома: дверь за дверью.

В одиннадцать пятьдесят телефон один раз засветился на полу рядом со мной. Не она на этот раз. Групповой чат и Дэйвон, четыре слова без пунктуации: *она внутри. Подтверждено всем.*

Под ним одна строка от Бэйтса и я прочитал её в темно-

те под её дыхание рядом и засмеялся в кулак, пока кровать нежно затряслась надо мной.

Бэйтс: *Скажите Уолтер, что движение живёт. Трое свидетелей говорят, что оно случилось. Вымирание отрицается. Увидимся в понедельник, выжившие*.

ДВАЖДЫ, УОЛТЕР
Лидия
11 декабря 2012 года

Выгнать нас в среду школе потребовалось на сорок минут дольше обычного.

Звонок прозвенел в половине четвёртого, коридоры опустели привычным бунтом, группа потекла к парковке в привычном строю и у дверей спустился мистер Праус и забрал Честера словами:

— Пять минут, Фриман, и пока ты в плену, я ещё и переписывание практического захочу.

Последовали переговоры о заложниках, условия были достигнуты, домашку пообещали и Честер посмотрел через плечо Прауса на меня сквозь поток тел с выражением человека, глубоко сожалеющего о логистике.

— Десять минут, — крикнул он. — Пятнадцать. Иди медленно. Я тебя найду.

— Не торопись, — сказала я и имела в виду, потому что ноги сегодня хотели медленный путь, длинный, мимо науч-

ного корпуса и вдоль передней стены, тот, что пахнет мокрым лавром и тем, что шестиклассники считали курением.

Гудок у ворот объявил освобождение Оливии и машина её матери проглотила её вместе с обещанием воскресной записи, а позади уже десять минут назад уехал седан Кавелли с Дэйвоном спереди и Бэйтсом сзади, который всё ещё вёл выходное интервью про статистику обуви в окно. Отец Джейкоба стоял у бордюра с собственной газетой, сложенной на приборной панели, и Джейкоб поднял два пальца от лямки, сказал:

— Длинным путём, Уолтер? Смотри на лавры, они мокрые, — он сложил себя на пассажирское сиденье с церемонией гораздо более взрослого человека.

Потом парковка опустела от всех, кого я знала, школа отступила в поздний день, окна оранжевели, Честер где-то внутри переписывал практическую для Прауса, а ноги проголосовали за длинный путь.

Тропинка за научным корпусом шла вдоль низа стены, а стена была стеной — официальным местом преступления шестого класса и лавры нависали над ней тёмные и капающие после утреннего дождя.

Воротник поднят, сумка на одном плече, вся дорога моя.

Голоса донеслись поверх стены, ещё до того, как я дошла до угла. Несколько, девичьи, высокие и наслоенные — тот смех-который-не-смех, что группа издаёт, когда кружит вокруг чего-то, — и под смехом однажды, резко, звук, который

к веселью не имел никакого отношения.

Это не курение, — подумала я, уже ускоряя шаг. — *Это не курение и не смех*.

Просвет в живой изгороди у угла открывал нишу — маленький тупиковый клочок асфальта, где зимой жили мусорные баки, а на переменах — шестиклассники. Я вошла туда быстрым шагом и замерла, сцена сложилась передо мной так, как складываются сцены: вся сразу и навсегда.

Каталина стояла на коленях на асфальте.

Сумку вытряхнули на землю, книги веером лежали в луже, оранжевый дневник настроения лежал корешком вверх рядом с баком на колёсах, а девочка, которую я знала в лицо и больше ничем, параллельный класс, плечи лакросса, имя вроде *Кили*, вышитое на форме в моей памяти, держала кулак, вплетённый прямо в волосы Каталины, удерживая голову под углом, который говорил всё сам, а вокруг них свободным полумесяцем стояли ещё четыре девочки — та красивость, которую отрабатывают перед зеркалом в ванной — и одна из них снимала, а губа Каталины уже была рассечена и кровь стекала по подбородку.

Глаза её смотрели в землю с фиксированным, клиническим терпением — лицо человека, который анализирует опыт, через который проходил достаточно раз, чтобы выработать для него систему хранения.

Что-то в яме моего живота открыло глаза.

Волосы. Они сначала пошли за волосы. Это тело знало

раньше головы: кулак в волосах — первый ход, якорь, хват, который превращает человека в поводок. И знание пришло откуда-то старше этой ниши, этого года и этой школы, и на целую секунду мне стало девять, я стояла у просвета в заборе площадки, пока более крупные девочки держали косы девочки, а я открыла рот и узнала, на что способен мой голос.

— Убери свои грёбаные руки от неё!

Ниша затихла так, как затихает комната — вся сразу, все головы повернулись. Сумка ударилась об асфальт где-то позади, потому что плечи сбросили её, не спрашивая меня, и я уже шла прямо сквозь середину полумесяца, разбивая их строй, как лужу. Громкость поднялась во мне голосом, который я в школе никогда не использовала: низким, рвущим, из дома с ремнём в шкафу, тем, что выковали в месте, куда эти девочки никогда не ходили.

— Я сказала: руки прочь! С её волос, Кили, или клянусь богом, я возьму это запястье и выгну назад, пока что-то в нём не щёлкнет, а потом сделаю то же самое со вторым для симметрии, и ты всем расскажешь, что это сделала десятиклассница, и тебе поверят, потому что посмотри на себя — тебе нужно несколько подруг и камера, чтобы справиться с одной девочкой на коленях.

— А ты, собственно, кто? — подбородок Кили поднялся, но кулак в волосах ослаб на градус, и я увидела, как за глазами начинается пересчёт.

— *Худший день, который у тебя был в этом тримест-*

ре. — ещё три шага и я была внутри пространства, слишком близко, на дистанции, где руки не замахиваются, смотря на девочку, у которой на восемь сантиметров больше рост, давая ей увидеть всё, что у меня есть на складе, а этого, как выяснилось, было предостаточно. — Хочешь проверить? Вот моё расписание. После школы — ничего. Сегодня вечером — ничего. Всю неделю — ничего. У меня есть время быть проблемой и меня вырастили профессионалы, и ничего из этого на мне не видно — вот о чём тебе стоит подумать по-настоящему.

Смех, неуверенный, с одного края полумесяца, и он умер, когда я повернула к нему голову. Парень у стены, шестиклассник с сигаретой на полпути ко рту, медленно опустил её, посмотрел на пятерых, посмотрел на меня и ушёл за угол походкой человека, который вспомнил срочную встречу в другом месте. Его уход унёс аудиторию, а таким девочкам аудитория нужна, как огню воздух.

— У её парня целый фан-клуб, — сказала Кили и кулак в волосах Каталины сделал ещё один маленький рывок — собственнический, чтобы сохранить лицо. — Мы просто поговорили.

— Её парень, — прорычала я, — мог бы купить и продать мнения всей твоей семьи, а я не полиция, я не разговариваю — я говорю тебе позицию. Позиция такая. У вас есть один уход, и он сейчас, и если любая часть любого из вас снова её коснётся — в любой день, в любом коридоре — я узнаю,

приду и найду вас, и в следующий раз я не буду маленькой и крикливой. Я буду тихой. И разница вам не понравится.

Ниша затаила дыхание. Где-то за стеной хлопнула дверца машины — обыкновенный мир продолжал свой день — и Кили смотрела на меня сверху вниз своими лакроссными плечами и отработанной красивостью, делая ту математику, которую делают такие девочки: цена против выгоды, и сумма вышла неправильной, потому что рот скривился, кулак раскрылся, голова Каталины освободилась и упала вперёд, а полумесяц рассыпался в угрюмую очередь.

— Как угодно, — усмехнулась Кили. — Она всё равно того не стоит.

Очередь прошла мимо меня к просвету, и предпоследняя врезала мне плечом на проходе и я позволила сдвинуть себя на дюйм и не больше. Когда они отошли на три шага, я показала им оба средних пальца.

— *Cocume*, — крикнула я им вслед, приветливо, как молочник. — Все. По отдельности и группой.

Хихиканье из изгороди, оборванное.

Я опустилась — колени на холодный асфальт рядом с ней, руки уже протянуты.

— Кат. Эй. Посмотри на меня. Дай посмотреть.

Она дала посмотреть. Подбородок поднялся с достоинством, рассечённая губа свободно кровоточила, одно колено колготок ушло в стрелки и кровь, кожа у пробора злилась красным там, где жил кулак, а глаза, когда сфокусировались

на мне, были сухими и работающими.

Из внутреннего кармана пиджака неторопливыми пальцами Каталина Голдман достала влажную салфетку, разорвала упаковку зубами и протянула мне ручкой вперёд, как хирург передаёт инструмент.

— Держу при себе, — пробормотала она сквозь рассечённую губу, утолщённо и спокойно. — Профессионально.

Смех вырвался у меня боком, с мокрым краем, наполовину облегчение, наполовину что-то более старое. Я взяла салфетку и вытерла ей подбородок так, как когда-то вытирали мой — уголок за уголком, без комментариев. Руки тряслись теперь, когда всё кончилось, когда огню было куда уйти. Я держала её лицо пальцами, которые дрожали и ненавидели себя за это.

— Ты уже один раз меня спасла, — сказала Каталина, пока я работала. — Знаешь, это уже второй. Сегодня — второй раз. — ее рот попытался улыбнуться и бросил это как плохую конструктивную инвестицию против рассечения. — Судьба ведёт на нас счета, или что?

— Или что, — выдавила я, снова смеясь, стирая с челюсти дождь и кровь. — Судьба тут ни при чём. Меня просто тянет к качеству. — салфетка ушла испорченной, я сложила её маленькой и взяла вторую, которую она уже протягивала, потому что, конечно, у неё была вторая. — Чего они хотели, Кат? Что это было? Что здесь вообще произошло?

Пожимание плечами прошло по ней осторожно, щадя ко-

жу головы, и она посмотрела мимо меня на книги в лужах и дневник корешком вверх, будто ответ был подшит среди них.

— Фанатки Хоккинса, — сказала она тем самым тоном, каким говорила о диагностических дарах. — Одиннадцатый класс. Им в головы вбили, что я его девушка — благодаря вечеринке, фляге и одной девочке с камерой в телефоне, они решили попробовать. — она пожала плечами. — Приходит и уходит. Ничего нового.

Ничего нового.

Слова легли куда-то под рёбра и сели там со своим весом, потому что я слышала этот голос раньше, вот в чём дело, эту конкретную плоскую спокойность. Дождь капал с лавров за научным корпусом, и память пришла целиком, как всегда приходят старые — без стука.

Мы никогда не были с Кат близки. Мы были чем-то лучше близкого. *Мы были двумя девочками, которые знали, где у другой хранится повреждение.*

— Прекрати археологию, — сказала Каталина сейчас, в настоящем, в нише, с колен. — Я слышу, как ты вспоминаешь. Это громко.

— Просто считаю. — я подхватила её под локоть. — Вставай. Медленно. У тебя гравий в колготках и я хочу посмотреть на это колено, прежде чем ты куда-то пойдёшь.

Вставание происходило этапами. Мы собирали её сумку вместе в капели и тишине. Книги выходили из лужи по од-

ной и промокались последней салфеткой, пенал нашли у бака, потом оранжевый дневник и глаза схватили полстраницы, прежде чем руки успели что-то решить.

Не настроения. Колонки. Даты слева, цепочка инициалов справа, отметки, маленькие аккуратные галочки, недели их, с сентября.

Большой палец закрыл страницу. Дневник щёлкнул под её рукой, прежде чем колонки успели договорить.

— Не надо. — предупредила Каталина и засунула оранжевую книжку в пиджак, застегнув пуговицу поверх. — Это данные, Лидия. Это не крик о помощи.

— С сентября. — я держала её запястье, потому что отпустить казалось проигрышем дела. — Это весь год, Кат. Это месяцы. Ты вела это, как погоду.

— *Всё становится погодой, если достаточно долго документировать*. — пожимание прошло по ней, осторожно к коже головы, и глаза ушли мимо меня к просвету в изгороди, проверяя выходы по привычке, о которой я не хотела думать. Потом они вернулись и зафиксировались на мне всей тяжестью клинического взгляда. — Вот в чём дело с данными. Они перестают быть данными в ту минуту, когда один из вас превращает их в историю. Поэтому они остаются данными. Живут у меня в пиджаке и никуда не идут. Не в группу. Не в дневник Оливии — а она попробует, придёт сбоку с целым этическим аргументом. И не к Бэйтсу. — её рассечённая губа сделала следующее предложение медленнее. — Особенно

не к Бэйтсу.

— Особенно не к мальчику, из-за которого тебя били.

— Особенно не к нему. — её взгляд не дрогнул и не объяснил, а за ним сидела целая запертая комната, которую я узнала, потому что держала такую же и девочки вроде нас никогда не ломали друг другу двери. — Ты плохо обещаешь. Ты ужасный лжец перед теми, кого любишь. Так что я не прошу ложь. — Каталина мягко высвободила запястье, наклонилась за сумкой и выпрямилась со всем собранным и подбородком снова на высоте кареты. — Я прошу молчание. Разница есть и ты её знаешь.

— Молчание я могу. — я кивнула. — Меня в нём вырастили.

— Знаю. — на секунду клиническое лицо Кат смягчилось и под ним показалась девятилетняя девочка. — Уже дважды, Уолтер. Это судьба ведёт на нас счета и я решила, что мне не нравится, что она считает, так что мы изменим арифметику. Ты смотри свои ниши. Я — свои выходы.

Просвет в изгороди забрал её мгновение спустя, пиджак застёгнут, колготки испорчены, без хромоты, которую школа могла бы увидеть, а я стояла в капели лавров, держа обещанное молчание и ненавидя его вес.

Потом остались только я и стена.

Холод шёл через кирпичи в плечи, где я прислонилась, и адреналин, больше не нужный себе, начал уходить из тела, как вода в слив. Руки ушли первыми. Дрожь, обе, мел-

кая быстрая дрожь струн, которые дёргают, и я смотрела на них, висящие с запястий, будто они принадлежали незнакомцу, который сделал дневное насилие за меня. Голос, который я использовала, всё ещё звенел где-то в собственных ушах. Этот низкий ровный тон, императивы, обещание про запястья, которые выгнутся, пока что-то не щёлкнет.

Грамматика Ройса, каждое слово, идеально спряжённое. Пятнадцать лет обучения в доме с ремнём в шкафу, и оказалось, что я всё это время была свободно говорящей и это выходило из меня только тогда, когда кого-то держали за волосы.

Вот наследство, — подумала я, глядя, как дрожат руки. *— Не пианино. Не политика. Это. Голос и арифметика эффективного причинения боли. Спасибо, отец.*

Смех пришёл раньше шагов.

Четверо на этот раз. Кили впереди со своими лакроссными плечами, толкательница плечом ухмылялась слева, двое ещё веером сзади, а та с камерой в телефоне была заметно, тактично отсутствует.

— О, смотрите, — протянула Кили, как сироп. — Телохранительница совсем одна.

— А куда делась твоя маленькая подружка? — толкательница вытянула шею мимо меня на пустую нишу, на поцарапанный асфальт, театральное разочарование. — Пошла зализывать раны? Уже дважды ей это было нужно и дважды кто-то вытирал. Это не удача, Уолтер, это благотворитель-

ность.

— Может, ей нравятся проекты, — вставила одна из задних, скучающе и жестоко. — Берёт на себя.

Они вошли в нишу так, как вода находит дыру, без спешки, растекаясь. Мою сумку пнули ногой там, где она лежала, одна из них щёлкнула её туфлей, пока лямка не шлёпнулась в лужу, и никто ничего об этом не сказал — в этом и был смысл, мелкий ущерб имуществу, о котором не стоит сообщать.

— Все видели тебя у Уитлока, кстати, — Кили остановилась на расстоянии вытянутой руки и посмотрела на меня сверху вниз со всем преимуществом своего роста. — Как ты бросалась на Фримана перед всем годом, как пьяный маленький ракушечник. Он проводил тебя домой из жалости, да? Кому-то же надо было тебя отмыть. — она наклонила голову, изучая меня на предмет вздрагивания. — Ты же понимаешь, что и он устанет от проекта. Все устают. И тогда ты будешь стоять в нише одна.

Толкательница шагнула близко, чтобы произнести свою реплику. Это была ошибка — сокращение дистанции, вторжение в зону, в которой я всё детство училась, что делают тела, а волосы у неё были собраны с лица заколкой, потому что красивые девочки этого возраста всегда собирают волосы с лица, — и моя рука уже двигалась.

Сначала волосы

Кулак сомкнулся в волнах у макушки и я рванула вниз

и вокруг всем, что было в плече, а её собственный импульс сделал остальное. Она развернулась полукругом, визжа, руками мельница, и подбородок протащился по моим костяшкам, пока она билась, ногтями вперёд, и я почувствовала, как кожа зацепилась и открылась — тонкая горячая линия, — и тогда на руке была кровь, которая не моя, и она кричала про лицо.

— Снимите её, снимите! — закричала толкательница, обе руки скребут мой кулак, и надо отдать ей должное — она тянула достаточно сильно, чтобы было больно пальцам, и не продвинулась никуда, потому что паника тянет, а тренировка держит.

— Тихо. — слово вышло из меня низким голосом и легло на всех четверых, как холодная вода. Я не повышала. В этом и была вся штука голоса, весь его трюк — Ройс научил меня этому, ни разу не намереваясь. — Никто ничего не делает. Она будет стоять спокойно, я буду говорить, а вы остальные будете слушать хоть раз в жизни. — Кили продвинулась на шаг и остановилась, и я смотрела, как она смотрит на подбородок подруги, на кровь, на моё лицо, и снова делает математику, её сумма на этот раз вышла другой, потому что маленькая крикливая десятиклассница оказалась с острыми гранями. — Я говорила, что в следующий раз предупреждения не будет. Вот как выглядит отсутствие предупреждения. Теперь забирайте её и уходите, и если где-то рядом со мной или с Каталиной Голдман снова появится камера — я узнаю

и я уже говорила вам, что разницу вы не оцените.

Отпускание было отдельной речью. Рука раскрылась сразу, и толкательница пошатнулась назад в одну из других, ладонь под подбородком, кровь была незначительной и все они это знали. В группе начался шёпот, уродливый маленький пересчёт и Кили смотрела на меня долгую секунду чем-то, что свернулось из уверенности в её более бедную родственницу.

— Фрик, — сказала она без жара, уже поворачиваясь. — Пошли. Оставьте фрика.

Они ушли так же, как первая партия и просвет в изгороди проглотил последний смех, а ниша вернула мне капель лавров и звук собственных лёгких, которые работали плохо, большими рваными глотками, отражающимися от стены.

В таком состоянии я обернулась и увидела Честера.

Он стоял в просвете изгороди, лямку сумки дважды обмотав вокруг кулака, совершенно неподвижный и лицо делало две вещи одновременно и проигрывало войну между ними. Страх пришёл первым — я видела, как он сидит в нём, широкий размах глаз по нише, разбросанная сумка, упавшая лямка в луже, кровь на моих костяшках, вся арифметика места преступления, которую он прогонял в каждой комнате с семи лет. А за страхом, поднимаясь сквозь него, как свет сквозь воду, было другое, и другое было изумлением.

Он видел. Невинного объяснения времени не существовало, никакой версии, в которой он пропустил волосы, раз-

ворот и тонкую красную линию. Пятнадцать минут Прауса истекли, он пошёл длинным путём меня искать, встал в том просвете и смотрел, как его такая подруга ведёт девочку по нише за макушку, как танцевальный ход, и теперь стоял, совсем не двигаясь, ожидая, чтобы я сказала, чем это было.

— Ты видел. — мой голос вышел надтреснутым по краям, адреналин говорил из груди, и я пересекла асфальт к нему ногами, которые не вполне договаривались с землёй, протянула руку и взяла его, потому что это была рука, за которую я хваталась, когда дрожи нужно было куда-то деться.

Пальцы сомкнулись вокруг моих раньше, чем дрожь успела найти место хуже, и весь его каркас принял дрожь без комментариев — несущий, неторопливый, как стены принимают погоду.

— Дыши со мной. — его голос упал до самого медленного регистра, скамеечного, того, которым он пользовался на мне ещё до того, как у любого из нас появился телефон. — На четыре. Задержи. На шесть. Я считаю.

И мы считали, стоя в нише, которая пахла мокрым лавром, соком из баков и слабым медным призраком царапины на моих костяшках, и где-то на втором круге лёгкие вспомнили свою настоящую работу, а на четвёртом земля перестала настаивать, что сделана из воды.

— Ты не злишься на меня? — вопрос выскользнул раньше, чем я успела его проверить, маленький и боком, пока я держалась за его руку, как за перила над длинным обрывом.

— Ты видел конец. Что я сделала. Как я это сделала.

Брови сошлись над зелёными глазами — честное недоумение, узел человека, которому вручили неправильную форму.

— Злиться из-за чего именно? — одно медленное качание головы от него и потом появилась улыбка, разорвавшая щёки до самых ямочек, глубоких, пары, которые изучала только я. — Что самая смелая девочка в этой школе просто встала на своё и отправила стаю задир кружить, как ястребов? Ни за что, Уолтер. *Никогда*. — его улыбка опрокинулась во что-то более тёплое и опасное. — Если уж на то пошло, я, кажется, только что влюбился в твою силу воли, моя леди.

Хихиканье вырвалось раньше слова, надломленное по краям и абсолютно настоящее.

— Леди? — моя свободная рука нашла его плечо и толкнула мягко. — У меня кровь на костяшках и репутация в лохмотьях, а ты кланяешься.

— Моя леди Лиди. — он поклонился, пока смех сочился из моей груди, затем он выпрямился из этого с уже заряженной овечьей ухмылкой и протянул мне свободную ладонь. — Окажешь ли ты мне честь защищать твою честь с этого дня и впредь?

Рука оторвалась от бока и оказалась в его ладони так, как вода находит сток, — мгновенно, без консультации, — и каждый контур в голове, который занимался осторожностью, арифметикой и тщательным поддержанием стен, просто вы-

ключился, а что-то более старое под ними взяло управление мной, что-то, что работало на красной нити и шло прямо из сердца без остановок.

Только этот мальчик когда-либо держал такую власть над системой. Только он, с живой изгороди 2004-го, патча для этого не было и я перестала подавать заявки годы назад.

— *Всегда, мой бесстрашный герой Чес.*

Его пальцы сложились поверх моих и на секунду театр оставался включённым — оба ухмылялись друг другу в капели и серости, как пара идиотов в конце фильма. Потом улыбка в нём улеглась и стала практической, потому что таков был порядок его операций — сначала преданность, потом сразу логистика — и он перевернул мою руку в обеих своих и посмотрел на повреждения как следует.

РОЗОВЫЙ И СЕРЫЙ

Честер
13 февраля 2013 года

Два месяца — долгий срок, чтобы носить за глазами одну-единственную секунду плёнки, а я нёс свою с декабря.

Секунда была такой. Просвет в живой изгороди, мокрые лавры капают и Лидия с кулаком, сжатым в волосах девчонки, поворачивает её, как дверную ручку. Вот это и осталось. Не крики, не кровь, не четверо, которые пятятся назад через просвет, с арифметикой, явно переписанной на лицах.

Только поворот. Механика.

Мать растила меня на евангелии «*уйди*», отец — на евангелии «*ни разу не видел его злым*» и между ними я до пятнадцати твёрдо верил, что руки — чтобы держать то, что любишь, и больше ничего.

А потом я стоял в этой изгороди и смотрел, как моя лучшая подруга берёт девчонку, которая в два раза длиннее её рук, за волосы, и почувствовал — *Господи, помилуй* — гордость. Это было то признание, которое я так и не произнёс вслух.

Не шок. Гордость. С расправленной грудью, с лёгкой головой, гордость, потому что девчонка на земле, которую защищали, была Каталина и потому что существовала версия моей лучшей подруги, которую школа до того дня никогда не видела, а я увидел и оказалось, что эта версия жила всё время, свёрнутая где-то тихо, ожидая, пока кто-то не схватит кого-то за волосы.

Другое, что я никогда не говорил вслух никому, в том числе себе после темноты, что это не выглядело дико. В этом и был стержень, заноза под кожей памяти. Я повидал достаточно драк на площадке и достаточно «сумок» на футболе, чтобы знать, как выглядит дикость: руки везде, паника и громкость.

Это было не то. Хватка была поставлена. Поворот был экономным. А голос, который вышел из неё — тот низкий, который я слышал даже из изгороди, — у того голоса была

грамматика, он учился в школе.

Она никогда не говорила мне, почему. Ни первой версии, ни второй, ни той части с оранжевым дневником Каталины, о существовании которого я узнал только потому, что Лидия замолкала на три дня, стоило кому-нибудь упомянуть оранжевый цвет. И я никогда не спрашивал, потому что спрашивать — это давление, а давление — единственная валюта, которую я поклялся на неё не тратить.

Февраль принёс такой холод, от которого потели окна столовой, и семеро нас оккупировали длинный стол у раздачи. Пар шёл от тридцати подносов с бежевой едой. А Оливия положила лист бумаги плашмя на стол между кетчупом и горчицей с важностью женщины, раскрывающей договор.

— Так, — сказала она. — Прежде чем кто-нибудь к этому притронется, хочу, чтобы все знали: моя мать вынесла это из офиса, технически оно под эмбарго до пятницы и я прочитала его четыре раза.

— Что прочитала? — спросил Бэйтс, уже протягивая руку и уже получая по ней.

— Список гостей. Вечер скачек в сентябре. Окружной ипподром, большое светское мероприятие в пользу благотворительного фонда мэра, ужин, скачки при свете, тихий аукцион и всё остальное. — Оливия разгладила бумагу обеими ладонями. — Здесь каждое имя в округе, которое что-то значит, я сверила его с нами и результаты трагичны, вы все захотите услышать их по порядку.

— Начни с меня. — Бэйтс поставил оба локтя на стол. — Хочу услышать своё имя первым.

— Тебя нет.

Тишина, полная, пока новость медленно проходила через Бэйтса, как напиток.

— Меня нет, — выдавил он наконец.

— Тебя нет.

— Я богатый. — его обе руки взметнулись, взывая к балкам, к потеющим окнам, к бежевому пару. — Я чрезвычайно богатый, Оливия. Мой отец играет в гольф с половиной этого списка и меня нет в окружном списке?

— Это не список богатых, ты орех, это светский список. — Оливия провела пальцем по бумаге. — Никого из дома Хоккинсов в стране тогда не будет, значит, никого из дома Хоккинсов в списке нет. Это базовая география.

— Тогда список врёт. Список — полное дерьмо, вот что это.

— Список — лист канцелярии моей матери и следи за языком, это юридический документ. — палец Лив продолжал двигаться. — Дом Блейков — нет, и прежде чем спросишь, Джейкоб, это не шпилька, это Роттердам. У твоего отца тогда закроется пересогласование по импорту, он улетит и будет выступать на каком-то ужине там. Он передаёт любовь, кстати, и хочет знать, покормил ли ты рыбок.

— Рыбки сдохли в ноябре, — ровно сказал Джейкоб в свой бутерброд. — Он спрашивает про рыбок уже три меся-

ца. Я всё время говорю, что они процветают. В какой-то момент это становится его виной, а не…

Приговор рыбкам остался без обжалования и внимание стола поехало дальше по списку под управлением пальца Оливии — мимо имён, которые никому ничего не значили, и имён, которые значили всё для чьей-то матери.

— Дом Кавелли. — палец Оливии остановился. — Нет.

— Верно. — Дэйвон не поднял глаз от чипсов. — Папа будет в Бристоле. Суд по мошенничеству, большой, тот, что в газетах. — его чипс был съеден с судебным спокойствием. — Он работает по субботам до приговора. Я тоже, в некотором смысле. Читаю материалы дела ради спорта.

— Ты читаешь судебные процессы ради удовольствия, ты полный псих, — с чувством произнёс Бэйтс. — Остальные читают результаты «Матча дня», а ты сидишь и выносишь приговор человеку над чипсами. Это неестественно, Дэйвон. Никто не бывает таким спокойным. Я уже говорил и повторю: когда-нибудь школа тебя раскопает и обнаружит, что ты несущая конструкция.

— Школа тогда рухнет, так что не станут.

— Дом Голдман, — продолжила Оливия. — Тоже нет.

— Мама будет в Эдинбурге. — Каталина сказала это вилке. — Конференция. Я буду на постое у бабушки, женщины, которая считает центральное отопление уделом континентальных слабаков, а ласку — слухом, который она отказалась проверять. Меня будет психоанализировать женщина,

родившаяся до войны, по поводу осанки. Нормально. Я всю жизнь тренировалась к этому, сидя прямо.

— Сердце кровью обливается, Голдман.

— Твоё сердце меня не знает, Хоккинс. — фыркнула Каталина. — Пусть так и останется, безопаснее.

— Дом Фейн. — палец Оливии замедлился на отсутствии собственной семьи и она вздохнула вздохом профессионала, преданного обстоятельствами. — Ладно, полное раскрытие. Отец будет в Брюсселе на каком-то судебном съезде, мать освещает дополнительные выборы и я поеду с ней. Субботний вечер, спортцентр в Ипсвиче, пресс-комната с автоматом, смотреть, как мужики в анораках таскают урны до двух ночи, пока подсчёт всё никак не закончится. — ее ручка вышла и дважды стукнула по столу, скорбно. — Она говорит, это закаляет характер. Мой характер уже закалён, если честно. Перекалён. Я хотела скачки. Хотела шляпки. Там шляпки, по репортажам, настоящие шляпки, а мне достанется автомат.

— Значит, все. — Бэйтс раскинул руки над столом, как человек, раскладывающий карты, которые уже знает проигрышными. — Хоккинс — Валь-д'Изер. Блейк — Роттердам. Кавелли — Бристоль. Голдман — Эдинбург. Фейн — Ипсвич. Пять домов, пять отговорок, одна катастрофическая неудача с приглашениями. — его руки легли плашмя на бумагу. — Прочитай мне начало списка ещё раз, Фейн. Медленно. Хочу услышать, за кого эти люди себя принимают.

— Колонка покровительства гласит следующее. — Оливия включила материнский дикторский голос, тот, которым она говорила на вечеринках, уничтожающий в четырнадцать. — Под покровительством Достопочтенного мэра… — начала она и рука Бэйтса взметнулась, как у ученика, который знает ответ.

— Не говори. Не смей говорить. Это он, да? Это папаша Уолтер. Всё мероприятие — его благотворительность. — голова повернулась медленно, театрально, к Лидии, и Бэйтс ткнул чипсом. — Это вечеринка твоего отца. Лидия. Лидия. Ты не гостья на этом мероприятии, ты его хозяйка! Ты дочь хозяина, это почти королевская кровь, весь округ едет в твой дом…

— Это не мой дом, это ипподром и я ничего не принимаю. — сказала Лид ровно, подбородок прямо, и я увидел, как маленькая механика за её лицом тихо закрыла одну створку, словно окно под дождём. — Отец — почётный гость, потому что на фонде стоит его имя. Мне достаётся платье и стул у двери, и мне улыбаются люди, которым от него что-то нужно. Вот и вся работа. Я делаю это с шести лет, могу во сне.

Никто за тем столом не услышал плоскости под словами — кроме, может, Дэйвона, который слышал всё, и меня, который восемь лет учил её погоду наизусть. Ящик… у меня в груди приоткрылся на дюйм, ноябрьский, тот, с грамматикой, и я подшил звук её голоса только что ко всему, что там жило, и закрыл, и снова надел лицо для стола.

— Дом Фриманов. — палец Оливии поехал дальше по странице, остановился и она посмотрела на меня с бровями, уже наполовину готовыми к заголовку. — Присутствуют. Оба имени. Мистер и миссис Фриман с семьёй.

— Разумеется, мы идём. — я сказал это так, как подтверждают время, плоско, потому что это был факт, который я нёс с Рождества, когда отец обвёл дату красной ручкой на кухонном календаре и написал рядом «дело Р.». — Компания спонсирует половину фонда. Уже годы. Папа и Ройс ходят по всему кругу вместе — ужины, таблички, перерезания ленточек, по одному рукопожатию и фотография для «Газеты». Я езжу на эти штуки с тех пор, как был достаточно маленьким, чтобы засыпать на пальто.

Стол затих очень специфическим образом. Тишиной присяжных, которые к чему-то пришли.

— Подожди. — Бэйтс положил чипс — для Бэйтса это было равносильно тому, как судья снимает парик. — Подожди, подожди. Значит, из всего этого стола, из семи самых богатых детей в округе, на событие года идут только вы двое. — он ткнул чипсом в Лидию. — И ты. — дальше его чипс качнулся ко мне. — Вы двое. Вместе. На балу.

— Это не бал, это скачки.

— Бал! — чипс лёг, его обе руки взметнулись, рисуя шатёр, которого никто больше не видел. — Ужин. Шляпки. Лошади. Тихий аукцион, Оливия сказала тихий аукцион, это почти сцена из фильма. А вы двое идёте, в нарядах, пока

остальные из нас гниют в Эдинбурге, Роттердаме и спортцентре в Ипсвиче. — голос Бэйтса поднялся на регистр и головы из очереди у раздачи поворачивались, притянутые гравитацией несправедливости Хоккинса. — Это дерьмо. Это объективно дерьмо и я хочу, чтобы это занесли в протокол.

— Ничего не заносят, — пробубнел Джейкоб в бутерброд. — Ничего не случилось. Два человека, которых мы знаем, идут на ужин. Это гражданское мероприятие, Бэйтс, а не свадьба под дулом.

— Это они, Джейкоб! — обе руки Бэйтса легли на стол с терпением человека, объясняющего рыбе, что такое дождь. — Держание за руки. Шесть секунд. Бревно у Уитлока, о котором я слышал, не думай, что нет, Дэйвон всё фиксирует, даже когда говорит, что нет. Восемь лет спасений в поле, тычков носом и девушки из церкви, которой не существовало, и теперь вселенная сажает их за один и тот же благотворительный ужин, пока друзья разбросаны по четырём странам. Если это совпадение, то я отличный пловец.

— Ты утонул на мели в июле, — сказала Каталина, не поднимая глаз. — Спасатель зашёл пешком. Было по колено.

— У меня были судороги!

— Ты стоял вертикально и голосил, Хок. У меня это в оранжевой тетради.

— И вот, — объявил Бэйтс столу, залу, потеющим окнам, пару и Богу. — Почему никто не доверяет психологии. — он снова развернулся к нам и обвиняющий палец снова вышел.

— Я поеду. Я решил. Приду как персонал. Фриман, у ваших там будет персонал — официанты, гардеробщики, твой отец ездит с людьми, достань мне жилет. Я отлично ношу подносы, спросите кого угодно, и буду стоять сзади у пальто и просто присутствовать.

— Тебя заметят через минуту, — Джейкоб откинулся на спинку стула, скрещивая руки на груди. — Ты не умеешь молчать шестьдесят секунд. Ты будешь комментировать скачки.

— Внутренне, Блейк. Внутренне.

— В прошлом месяце ты комментировал поездку на автобусе вслух, автобусу.

— Тот автобус был хаотическим и кто-то должен был наводить порядок.

— Хватит. — приговор Дэйвона лёг вдоль стола плоско и окончательно, как всегда его приговоры, и спор сомкнулся вокруг него, как вода. — Это рабочее мероприятие для обоих их отцов. Костюмы, речи, незнакомцы. Нет версии того вечера, которую улучшит ты в жилете. — он посмотрел на Лидию, потом посмотрел на меня и проход повторился. — Вы двое справитесь. Вы всегда справляетесь.

Никто за тем столом не знал, чего ему стоило удержать эту фразу маленькой. *Незнакомцы*, сказал он. И девушка, чей отец владеет комнатой, тихий аукцион и восемь лет наблюдения, как она входит в эти комнаты с муниципальным лицом. Дэйвон стоял со мной в сером дворе в двенадцать и

учил меня её языку и только что услышал ту же створку, что и я, и его приговор на самом деле был депешей только мне.

Следи за ней в субботу. Я и собирался. Это было единственное задание, которое я когда-либо давал себе сам.

Лидия со своей стороны выполнила общественный долг безупречно.

— Это благотворительность, — сказала она столу, одно плечо чуть приподнялось. — Стоишь, хлопаешь, даёшь древним мужчинам целовать руку и говорить, что выросла. Лошади — лучшая часть и их даже не слышно изнутри шатра. Вам всем лучше в ваших Ипсвичах.

Убедительно, легко, закончено, и стол купил это целиком и двинулся дальше, как столы и делают. Обратно к правам Бэйтса на персонал и к тому, выдержит ли Джейкоб две недели рыбьего обмана, — и вот тогда это случилось.

Её глаза поднялись и нашли мои через кетчуп.

Никто за тем столом не смотрел и они пересекли всю длину обеденного стола и сели на меня с открытыми веками, без створок, без всего муниципального, просто девушка с бревна в ноябре, делающая ту улыбку, маленькую кривую, у которой был только один адресат, и сердце сделало то, что всегда делало, когда она целилась в меня: споткнулось о мебель по дороге к тому, чтобы встать прямо.

Я ответил бровью. На миллиметр. Она прикусила губу, чтобы сдержать ухмылку, и проиграла с разгромным счётом, опустив глаза на поднос, и я опустил на свой, а над нами спор

катился дальше о том, устойчива ли рыбья ложь до Пасхи.

— Конечно устойчива, он спрашивает раз в две недели, а я говорю, что процветают, это система, Блейк, это называется управление…

Под столом телефон лежал в кармане пиджака тяжестью у бедра, и я вынул его на колено, ниже линии зрения стола и маленькая клавиатура экрана ждала там в сером свете столовой, пока я делал вид, что интересуюсь подносом. Большие пальцы — честные создания. Мои набрали сообщение раньше, чем чувство момента успело подать возражение.

Слишком быстро, — подумал я и всё равно отправил.

Честер: *Вопрос. По шкале от одного до десяти, насколько невыносимы будут шляпки? Мне нужно подготовиться эмоционально.*

Телефон у неё на коленях, двумя местами ниже и одним наискосок, должно быть, завибрировал, потому что вилка замерла на середине укола и лицо сделало маленькое идеальное ничего. Её глаза один раз метнулись к спору, чтобы убедиться, что он всё ещё самоподдерживается, а потом большие пальцы поработали у края стола четыре секунды, и моё колено ответило вибрацией.

Лидия: *Одиннадцать. В прошлом году женщина надела птицу. Целую птицу. Примотанную к полям, смотрящую на меня. Отец заставил меня похвалить оперение. Я до сих пор не оправилась.*

Смех едва не вырвался, и я превратил его в кашель и вы-

пил воды, как человек с горлом, и Джейкоб бросил на меня взгляд с трёх футов, подозрительный ровно на секунду, а потом Каталина сказала что-то клиническое про рыбок и утащила его обратно.

Я набрал снова.

Честер: *Что надевают, чтобы на тебя смотрела птица*?

Три точки появились на краю зрения, в медленном ленивом темпе девушки, которая печатает одной рукой под столом, кивая на разговор о Роттердаме.

Лидия: *Тебе скажут. Мать тебя обработает. Ты Фриман, придёшь в чём-то сшитом на заказ и уничтожающем и испортишь вечер всем остальным мужчинам, а их жёны будут смотреть на них через стол так, будто они провалили экзамен. Как принято*.

Я прочитал дважды. Большие пальцы зависли. Здесь была линия, и я её видел, она рисовала большинство наших линий за годы и эта казалась моей — провести или оставить, — а мне было пятнадцать, и я был терпелив с изгороди и ток под грудиной проголосовал единогласно.

Честер: *Уничтожающий, значит.*

Ответ пришёл быстро на этот раз, так быстро, что я почувствовал его ветер, и колено завибрировало целым предложением, светящимся у меня на коленях, я смотрел на него долго, прежде чем набраться смелости открыть как следует.

Лидия: *Ты флиртуешь со мной, Честер Фриман?*

Ну, — подумала последняя рабочая клетка в голове, пока остальное здание аккуратно сгорало. — *Она тебя поймала*.

Столовая продолжала вокруг нас. Я опустил большой палец и строил ответ, как человек, укладывающий пол, слово за словом.

Честер: *Работает?*

Вибрация.

Лидия: *Отвечать на вопрос вопросом. Классическое уклонение. Кат бы устроила праздник.*

Честер: *Каталина бы выставила нам счёт по часам. Ответь на вопрос, Уолтер.*

Пауза на этот раз, настоящая, десять полных секунд трёх точек, появляющихся и исчезающих, как что-то всплывает и снова ныряет, и я смотрел на неё краем глаза — маленькая хмурость сочинения, губа, пойманная зубами, — а потом колено вспыхнуло.

Лидия: *Что ты наденешь?*

Лидия: *На скачки. Очевидно*, — добавила она, прежде чем я успел принять какие-либо вольности, и я выдохнул дыхание, которое держал, и набрал в ответ.

Честер: *Серый костюм. Мама уже доставала его. Была лекция про воротники рубашек. Я отключился на запонках.*

Три точки, быстрые и уверенные на этот раз.

Лидия: *Розовое платье.*

Я смотрел на эти два слова какое-то время. Плоские на экране, маленькие буквы, а за рёбрами что-то перевернулось

и опустило голову, как лошадь в непогоду, потому что я уже видел это, у меня было воображение и восемь лет исходного материала, и я видел всё целиком — серое и розовое, её рука в моей перед огнями шатра, пока какой-нибудь древний мужчина целует ей руку и говорит, что выросла.

Я набрал медленно.

Честер: *Розовое.*

Лидия: *Не надо.*

Честер: *Я ничего не говорю.*

Лидия: *Ты что-то печатаешь, а для тебя это и есть говорить что-то.*

Честер: *Это будет хороший цвет. Вот и всё. По имеющейся информации. Исторически говоря.*

Пауза, которая последовала, имела улыбку, я чувствовал её форму, идущую по эфиру, прежде чем сообщение приземлилось, и когда приземлилось, мне пришлось положить свободную руку плашмя на стол, чтобы всё самообладание не съехало боком со стула.

Лидия: *Ты в сером и я в розовом. Почти выглядит так, будто кто-то спланировал это для нас. Судьба, наверное. Идеальное сочетание цветов.*

Судьба, — подумал я, глядя на конденсат на окне, на пар от тридцати подносов, на весь ревущий обычный мир. — *Она сказала "судьба". Письменно. Во вторник, при дневном свете, без повода. Десять лет вторников, и она ни разу не произнесла слово про нас, потому что назвать — значит*

сделать реальным, а реальные вещи можно найти и сломать.

Большой палец лежал над клавиатурой и не двигался. Осторожная версия меня, картотека на ногах, хотела отправить что-то лёгкое и выйти из момента с казной целой. Другая версия — та, с бревна в ноябре, которая расписалась за письмо и пообещала заверить его трезвой, — набрала четыре слова и нажала «отправить», прежде чем бухгалтер успел заговорить.

Честер: *Не судьба. Просто давно пора.*

Внизу стола, в ту же самую секунду, Лидия издала маленький звук в запястье — кашель, который никого с работающими ушами не обманул, — потянулась за водой, и уши у неё над воротником заметно порозовели, а я сидел в обломках собственного мужества и чувствовал, как сердце колотит в рёбра кулаком по двери, в которую я наконец-то, наконец-то постучал.

Что, естественно, и было тем самым моментом, когда Бэйтс замолчал.

Тишина распространилась от его конца стола так, как холод распространяется по стеклу, и я поднял глаза от подноса с плоским невинным лицом мальчика, который никогда в жизни не держал телефона, а Бэйтс наклонился вперёд на обоих локтях, голова склонена, глаза сужены до научных щелочек, путешествуя между нами.

Я. Она. Снова я. Моя рука, неподвижная на столе. Её ста-

кан с водой. Моя другая рука, которая была на коленях и только что очень осторожно усыпила телефон.

— Почему вы оба улыбаетесь своим коленям, — Бэйтс сощурился.

— Мы не улыбаемся, — безмятежно сказала Лидия.

— Улыбаетесь. Вы улыбаетесь своим коленям уже пять минут. Оба. Синхронно. Как пара, как дуэт энтузиастов коленей. — его голос поднялся вдоль стола, собирая внимание Джейкоба, Оливи, Дэйвона и Каталины так, как его голос всегда собирал. — Оливия. Ливи. Ты это видишь. Они переписываются. Я поставлю батут. Они сидят в трёх футах друг от друга за моим обеденным столом, переписываются, улыбаются себе на колени, как пара… они и раньше улыбнулись, через кетчуп, я видел, я заметил и промолчал, а теперь ещё и телефоны!

— Телефоны всегда есть, — сказал Джейкоб. — Это современная болезнь. Оставь им достоинство.

— Никакого достоинства, Блейк, под моим обедом идёт целый скрытый разговор, а я лучший друг и меня в нём нет, и я хочу, чтобы было известно: я заметил улыбку, колени и кашель, потому что это три точки данных, а Голдман говорит, что три точки — это тренд, скажи им, Голдман…

— Три точки данных — это тренд. — Каталина выдала это, как печать, и вернулась к вилке. — Тренд — не твоё дело. И ещё: у тебя кетчуп капает на галстук.

Бэйтс посмотрел вниз на галстук и комната сняла с нас

коллективный глаз ровно на это время, и в это время, под горизонтом стола, телефон в последний раз завибрировал о ногу, и я понесу сообщение, которое он держал, в какую бы могилу меня ни отправили первой.

Лидия: *Скачки. Найди меня за три секунды, стена. Все остальные будут смотреть на лошадей*.

Оливия к тому моменту уже достала ручку, постукивая по списку гостей под эмбарго, и на лице у неё было то выражение, которое появлялось около пресс-циклов — голодное профессиональное.

— Для протокола, — произнесла Лив столу, истории, дневнику, — присутствие на скачках подтверждено для двоих. Шляпки, лошади, целование рук и всё, что пропустят камеры округа. — её глаза скользнули в сторону Лидии с приятным терпением журналистки, которая уже знает, что история всё равно выйдет. — Всё что угодно, Уолтер.

— Спроси после скачек. — Лидия сказала это в остатки обеда, совершенно собранная, совершенно розовая на ушах, девушка с розовым платьем и планом, о котором, как она не знала, я уже знал. — Если я ещё буду разговаривать с кем-нибудь из вас.

— Будешь, — сказал Дэйвон, собирая поднос, неторопливо, окончательно, поднимаясь как погода. — Будешь разговаривать со всеми нами, подробно, потому что никто за этим столом не позволит вам двоим войти в тот шатёр в одиночку и ничего не доложить. — его сумка легла на плечо и в конце

стола он остановился, на уровне нас двоих. — Три секунды, Фриман. — Дэй посмотрел вниз одним медленным проходом. — Некоторые числа никогда не меняются.

— *Никогда*, — кивнул я.

НА ПОЛТАКТА БЛИЖЕ

Лидия

13 февраля 2013 года

Звонок, который прозвенел, оказался чужим расписанием, и зал, уже качнувшийся к стульям, снова хлынул назад, потому что двери в дальнем конце открылись и комитет благотворительности шестого класса вкатил на тележке для кейтеринга звуковую систему, а удлинители тянулись за ней, как шлейф невесты.

Неделя Святого Валентина пришла в школу и комитет захватил последние двадцать минут каждого обеда тем, что называл **Radio Hearts**: один фунт — заказ, два фунта — посвящение, вся прибыль — в фонд мэра и очередь у их раскладного стола образовалась быстрее любой очереди, которую эта школа когда-либо выдавала на что-то образовательное.

Я смотрела, как вся эта конструкция собирается с нашего конца длинного стола и Честер не вернулся на свой стул. Это было первое, что я заметила. Звонок прозвенел, зал перестроился, а мальчик просто сдвинул стул на два места вдоль

скамьи, когда никто не смотрел, и теперь сидел рядом со мной, рука вдоль моей спинки, колено к колену и вёл разговор с Джейкобом про рыбу так, будто близость была уже решённым вопросом публичного протокола.

— Это, — объявил Бэйтс, возвращаясь от раскладного стола со скоростью, которая разбросала двух восьмиклассников, — величайшая схема в истории этой школы. За один фунт они сыграют любую песню. За два фунта они сыграют любую песню и зачитают посвящение. За пять фунтов — а я это проверил с казначеем — за пять фунтов они сыграют всё, что я захочу, посвятят как я захочу и я выбираю громкость. — он сел с выражением человека, только что получившего ядерные возможности. — Вы все понимаете, что я описываю. Я купил эфир.

— Ты купил песню, — Джейкоб закатил глаза. — В столовой. Это песня в столовой, Бэйтс, а не *Би-би-си*.

— Это платформа, Блейк. Это самая большая комната в школе, это неделя Валентина и у меня есть пятифунтовая купюра и мечта. — обе руки Бэй-Бэя легли плоско на стол, и голова медленно, с ужасной целью, повернулась вдоль скамьи. — Мне нужен партнёр. Мне нужен партнёр с ритмом, с присутствием, с послужным списком общественной службы.

— Нет, — сказала Каталина, не поднимая глаз от оранжевого дневника.

— Я ещё ничего не сказал.

— Ты молчал так, что в молчании было моё имя. Ответ —

нет. Сорок футов, Хоккинс. Вся наша договорённость держится на сорока футах.

— Это был пункт о профессиональной дистанции и он не покрывает благотворительность. — он встал и обошёл стол, прежде чем она успела закрыть дневник, взял её руку обеими своими так, как человек хватается за верёвку в шторм, и весь стол повернулся смотреть на переговоры, потому что переговоры между этими двумя были лучшим бесплатным театром в графстве. — Одна песня. Три минуты. У тебя есть три секунды в протоколе с поля Уитлока, все знают, что ты умеешь двигаться и это для фонда мэра, Голдман, больные дети или пони, или что там, ты правда собираешься подвести пони?

— Пони, — сказала она с закрытыми глазами, — не участвуют.

— Пони могут участвовать. Ты не можешь исключить пони.

— Твоя логика больна и я ненавижу, что она работает.

Сначала он вскочил на стол — один прыжок — и втащил её за обе руки. Зал заметил так, как залы замечают: одной большой поворачивающейся волной лиц, а казначей комитета приняла пять фунтов Бэйтса с благоговением женщины, держащей реликвию, наклонилась над листом посвящений и прочитала обратно для подтверждения.

— Каталине, — прочитала она. — От твоего *самого большого* поклонника. Заказ — **Walk the Moon**, *Shut Up and*

Dance.

Вступительная синтезаторная линия ударила по комнате, как брошенное ведро.

Я хочу, чтобы где-то навсегда было зафиксировано: за четыре такта вся столовая стала одним организмом. Семиклассники встали на стулья. Персонал окошка выдачи высунулся из окошка. Чей-то телефон-камера поднялся над толпой, потом ещё шесть и свист начался сзади и покатился вперёд, как прилив, а на столе, перед всей школой, Бэйтс Хокинс стал солистом самой большой и самой неэксклюзивной группы в мире.

Он взял первый куплет один — с воздушной гитарой и всем остальным, — и толпа орала ему строки в ответ так громко, что динамики сдались, и тогда он повернулся к Каталине, протянул руку, как человек, предлагающий дуэль, а она посмотрела на четыреста лиц с плоским обзором генерала, оценивающего поле боя, и что-то за её клиническим лицом подало финальный отчёт и сдалось.

Она танцевала.

Не три секунды. *Всё*. Она взяла пустой стакан с воды с края стола, поднесла ко рту, как микрофон, и выдала припев прямо ему в лицо. Они двое орали его друг другу через два фута столешницы, пока зал терял коллективный разум.

— О, только не смей оглядываться, — завыл Бэйтс, указывая на неё обеими руками. — Просто смотри на меня!

— Заткнись и танцуй со мной! — ответил зал.

Стакан-микрофон прошёл по толпе, как волшебная палочка. Каталина дирижировала и каждый человек в той комнате пел для неё хук, она повернулась обратно к Бэйтсу на последнюю строку, и они двое выдали её друг другу на полной громкости, лбами почти касаясь: он ухмылялся, как безумец, а она носила ту маленькую яростную улыбку, которую пятнадцать лет держала засекреченной.

— *Эта женщина — моя судьба*!

Место развалилось. Свист, аплодисменты, стоячая овация от девятиклассников, одна буфетчица аплодирует в разливательную ложку, а на столе Бэйтс сделал поклон, который чуть не стоил им обоим жизни. Каталина втащила его обратно за воротник одной рукой, стакан всё ещё в другой, как трофей, и где-то посреди рёва я начала смеяться и обнаружила, что не могу остановиться.

Руки обхватили меня сзади.

Это был Честер: встал со мной с места и сложил меня в объятия, пока зал орал на его лучшего друга, руки скрестились у меня на ключицах, подбородок лёг на макушку, и я откинулась в всю его конструкцию так, как откидываешься на стену, которой доверяешь с малых лет.

Он был тёплым через две рубашки. Его сердце билось где-то о мою лопатку — быстрый жёсткий ритм, который совсем не совпадал с его спокойствием и никогда ни разу не совпадал, — и я оставила это открытие себе, как оставляла все: подшитое, частное, моё.

— Она его убьёт, — сказала я в потолок шума. — Будет инцидент. Мы будем свидетелями.

— Стоило того. Посмотри на её лицо, Лиди. — его голос шёл через макушку, глубокий грудной гул, который я больше чувствовала, чем слышала. — Она получает лучшее время своей жизни и будет отрицать это до весны. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них умереть, и одна из них — заставить Каталину Голдман танцевать при всех.

Его рука нашла мои волосы.

Я почувствовала, как она прибыла: нарочный вес пальцев, собирающих одну прядь у виска, а потом началось медленное аккуратное дело — наматывание пряди на указательный палец, один виток, два, так, как наматывают нитку на катушку, — и прикосновение прошло через кожу головы, вниз по шее и обосновалось где-то под грудиной, и четыреста человек орали в десяти футах, а я потеряла их всех.

Следующий припев накатил. Бэйтс выдавал его в стакан, который Каталина теперь держала для него, оба выли, а позади меня, мне в ухо, под шумом, низко и неспешно и целиком для меня, Честер пропел одну строку.

— Эта женщина — моя судьба.

Слова легли на кожу и остались.

— Это лирика, — выдавила я и голос вышел целым регистром неверным, и он услышал, потому что грудь дрогнула у меня на спине от смеха, который он сдерживал.

— Это ещё и новости.

— Честер Фриман. — я повернула лицо вбок так далеко, как позволяла его ключица, и нашла его челюсть прямо там, достаточно близко, чтобы считать пульс, бьющийся в ней. — Ты флиртуешь со мной. При всех. При дневном свете. Есть камеры.

— На пляже тоже были камеры и в суде всё выдержало отлично. — прядь получила ещё один виток, мягко, и он наклонил голову, пока рот не оказался у раковины моего уха, и вся ревущая столовая сжалась до размера его шёпота. — Я отправил тебе запрос сегодня днём и ты так и не ответила. Работает, Уолтер? *Флирт*. Мне должны ответ, прошло сорок минут — это практически финансовый квартал.

— Ты невыносим.

— Это тоже не ответ.

— Работает, — сказала я его воротнику, потому что за восемь лет мы ни разу не оставили правду без ответа, когда другой осмелился сказать её вслух, и я не собиралась строить своё первое исключение во вторник в столовой. — Работает с 2004-го, ты невыносимый, в этом весь скандал, все в этой комнате видят это, кроме нас, видимо.

— Мм. — звук из него вышел довольный и ленивый, человек, улаживающий долг. — Говорил же. *Давно пора*.

На столе песня взорвалась в финальный припев и Бэйтс, который берег энергию именно для этого момента, полностью отдался прыжку, охватившему большую часть столешницы, а Каталина поймала его рукав на приземлении — ров-

но, одной рукой, всё ещё держа стакан-микрофон, — и зал перешёл от аплодисментов к настоящему крику, а Оливия стояла на нашей скамье и снимала со слезами на лице.

— История, — объявила она столу, комнате, потомкам. — Я плачу и снимаю, это полный журналистский срыв, я никогда не была счастливее. Джейкоб, скажи что-нибудь историческое для звука.

— У него развязаны шнурки, — выдал Джейкоб, руки в карманах, глядя на картину с выражением человека на фейерверке, который он предсказал вплоть до цветов. — Если он упадёт перед всей школой, хочу, чтобы отметили: я это предсказал и всё равно пять фунтов стоили того. Лучшая по цене благотворительность в графстве.

Песня закончилась так, как песни заканчиваются в фильмах: разом, на позе, и они двое стояли там на столе в внезапной тишине, грудь ходит ходуном, стакан поднят. Овация, которая последовала, была самым громким звуком, который это здание издавало с момента постройки. Бэйтс поклонился четыре отдельных раза. Каталина сошла со стола со стаканом всё ещё в руке и полностью восстановленной осанкой, застегнула кардиган до горла и прошла обратно к нашей скамье через стоящую толпу, как монарх пересекает двор, села рядом со мной — сияющая, запыхавшаяся — и сказала:

— Этого никогда не было. Ничего из этого. Нет стакана, не было стола и если кто-то из вас сошлётся на запись — я подам в суд.

— Есть запись с шести углов, — усмехнулась Оливия мокро и радостно.

— Тогда я проиграю в суде и уеду. Это планировалось годами.

Комитет, читая комнату как профессионалы, дал рёву выгореть и потом сбросил темп на последнюю часть обеда, вступительные ноты следующего трека вошли низко и звонко — гитара, как медленная вода, — и я почувствовала, как весь зал разом выдохнул.

Snow Patrol. **Chasing Cars**. Пары начали собираться из толпы по двое у краёв комнаты — ритуал недели Валентина, — и я смотрела на это из круга его рук, пульс делая арифметику, которой ему было нечего делать, потому что это была медленная песня, и мы были мы, были правила.

Его руки ослабли. Повернули меня за плечи, мягко, пока я не оказалась лицом к нему.

— Лидия. — Чес выглядел нелепо и идеально: волосы разворошены от того, что опирался на меня, уши всё ещё слегка розовые от дневной переписки, совершенно серьёзный. — Один танец. До того, как звонок всё испортит. Это весь запрос.

— Здесь нет танцпола. Здесь пюре.

— Есть кусок пола у окошка и низкие стандарты. — он протянул руку ладонью вверх, а вокруг шестиклассники медленно шаркали под бумажными сердцами. — Ну же, Уолтер. Когда я тебя когда-либо вёл неправильно. — его ладонь

оставалась протянутой, спокойная, терпеливая и голос упал под музыку в тот регистр, который ни разу не просил у меня ничего, кроме этой одной вещи — снова и снова, на каждом языке, которым он владел. — Один танец. При дневном свете. Вот и всё. Это просто мы, делаем то, что всегда делаем: стоим рядом, с добавленным ритмом.

Я вложила руку в его. Разумеется, я вложила руку в его. За последние восемь лет не существовало версии, в которой я делала что-то другое, и никогда не будет, система подшивки за рёбрами знала это раньше, чем гордость успела набросать возражения.

Кусок пола у окошка принял нас, его рука легла на мою талию, моя — на его плечо и расстояние, которое мы оставили между собой, смутило бы инспектора ваучеров, и никто из нас не сократил его и никто не увеличил.

Сначала начался счёт, потому что это были мы, *это всегда были мы*.

— Раз и два, раз и два, — сказала я ему в рубашку, потому что лоб оказался где-то в районе его ключицы и сдался с достоинством.

— Ты считаешь вслух. — его грудь дрогнула у моей щеки от смеха. — Смелый выбор для романтического случая.

— Ты тоже считаешь. Я чувствую. Твой большой палец делает это у меня на спине. Раз и, два и. — мое обвинение вышло приглушённым и блаженным. — Ты всё это время дирижировал мной, как школьным оркестром.

— Потому что ты ускоряешься, Лид. — его рука распахнулась широко и плоско между лопатками, тёплая сквозь хлопок, и надавила — мягко, замедляя всё предприятие. — Так что я метроном. На эту работу я подал заявку. Замедлись. Здесь нет финишной черты. Это песня, а не пожар.

— Пожар может быть. Бэйтс рядом с электрикой.

— Бэйтс нейтрализован. Смотри.

Через его плечо картина собралась, как картина. Бэйтс сидел обмякший и сияющий на нашей скамье, волосы прилипли ко лбу, галстук на половине мачты, пил воду, как человек, возвращающий долг собственному телу. Каталина сидела рядом с ним на уставных сорока футах, только сорок футов как-то сжались примерно до двух во время аплодисментов, и она прижимала пустой стакан к собственной глазнице с клинической отстранённостью.

— Лёд, — говорила она никому, столу. — Стакан холодный. Никто не читайте ничего в близость.

— Читайте, — прохрипел Бэйтс из своего обмякшего состояния. — Читайте что хотите во всё. Лучший обед в моей жизни. Я собираюсь оформить этот день в рамку.

Оливия всё ещё стояла на нашей скамье, телефон поднят, но объектив уплыл. Я смотрела, как он качнулся от обломков Бэйтса и Каталины и нашёл нас — там, на полу у окошка, — и смотрела, как её лицо делает расчёт. Она опустила телефон, не снимая, просто смотрела вместо этого, обе руки у рта, глаза сияют — журналистка, один раз в карьере отло-

жившая перо.

— Второе историческое событие этого обеда, — объявила она приглушённо Джейкобу. — За один обед. Я не могу снимать всё. Кое-что просто нужно засвидетельствовать.

— Тогда свидетельствуй тихо. — Джейкоб занял скамью, как человек, держащий места на похоронах, руки скрещены, глядя на нас с тем плоским тёплым весельем, которое он приберегал для случаев, о которых весь остальной мир шумит. — Они танцуют. Они танцуют уже восемь лет. Просто теперь есть музыка.

Песня катилась под всем этим — та медленная звонкая гитара, — и певец говорил что-то про то, чтобы забыть мир. Комната смягчилась по краям так, как комнаты смягчаются в последние десять минут обеда: все усталые, насахаренные. Где-то у дверей пара из шестого класса медленно танцевала по учебнику, а учитель делал вид, что не видит, и бумажные сердца крутились на нитках от сквозняка из окошка.

Мы не были по учебнику. Мы были на два такта врозь и сближались, мои ноги совершали преступления на полу, его ноги делали под ними терпеливые поправки, и в какой-то момент я решила проблему роста единственным способом, которым история её когда-либо решала. Мои пальцы ног нашли верх его ботинок и встали на них — обе ноги, всем весом, — и я поднялась из района ключицы в настоящий разговорный диапазон. Чес посмотрел на меня с нового расстояния — на целую пядь ближе, чем раньше, — и его уши про-

шли мимо розового в открытое пламя.

— Ты стоишь на моих ногах.

— Ты гигант. Это инфраструктура. Я пользуюсь общественным транспортом. — я ещё сильнее запрокинула подбородок. — Вот. Теперь я вижу веснушку. Привет, *веснушка*. Мы тебя обсуждали.

— Привет, — прохрипел он, разрушенный, моему лбу, потому что линия зрения на веснушку, видимо, стоила ему остальных предложений. Его большой палец продолжал медленный счёт у меня на позвоночнике. Раз и, два и. Комната могла бы сгореть вокруг нас, а он держал бы темп — вот какой он был мальчик: несущий нагрузку, пунктуальный, *мой*.

— Чес.

— Мм.

— Это наш второй танец, не считая тот, когда ты вернулся.

— Третий. — Поправка пришла мгновенно и серьёзно, человек, сверяющий собственные счета. — Эксмут был первым, в августе, на ветру, и ты тогда тоже стояла на моих ногах, что должно отразиться где-то — это схема вторжения. Второй был бревном в ноябре без музыки, примерно с четырьмя дюймами воздуха между нами и правилом не целоваться. — его голос ушёл под гитары. — Это третий. В сентябре будет четвёртый.

— В сентябре будет четвёртый, — повторила я и предложение село у меня во рту, как сахар, как план, как что-то с

подолом, воротником и будущим. — Розовое и серое.

— Идеальная комбинация.

— Ты это взял из моего сообщения.

— Я взял всё из твоего сообщения. Я прочитал его одиннадцать раз. Это лучшее, что есть на моём телефоне, а на моём телефоне есть весь интернет. — его лоб опустился и коснулся моего, и с такого расстояния его глаза были слишком всем: зелёные, спокойные и освещённые откуда-то изнутри. — Лид. В сентябре в том шатре будет четыреста человек и шляпы, мой отец будет жать руку твоему отцу для камер, и всё будет ровно таким невыносимым, как ты говорила. И ничего из этого не имеет значения из-за арифметики.

— Какой арифметики.

— Три секунды. — его большой палец перестал считать. — Это всегда были три секунды. Первый день каждого года с семи лет, каждый зал, каждое поле, каждая вечеринка, на которой нас когда-либо разлучали. Я вхожу, ищу тебя, три секунды — и комната становится выносимой. Это вся сумма. Так я пережил каждую из этих штук всю свою жизнь и так переживу скачки, так переживу всё после них. — дыхание прошло через него, неровное по краям и он всё равно положил его — так, как клал всё: осторожно, туда, где я могла дотянуться. — *Ты не трудность*, Лидия. Мне нужно, чтобы ты это знала, потому что я сказал это однажды на пляже и сказал неправильно. Ты — три секунды. Ты была тремя секундами всё это время.

Песня говорила что-то про лежание в темноте и я перестала её слышать.

Что-то в груди отперло дверь, на которую опиралось годами, — дверь, за которой я держала письма, которые никогда не отправляла, и слова, которые выдавала только в песнях в полночь, — и я стояла на ботинках мальчика в столовой в десяти футах от четырёхсот человек и рассматривала дверь, цену двери, ужасную арифметику всего моего дома на холме, ремень, мэра и смену у ворот.

— Честер. — мои руки в какой-то момент двинулись — обе: одна на затылке, другая сжата в кулак в рубашке у рёбер, держась, как женщина на платформе, принимающая решение. — Я не могу сказать это в ответ. Не здесь. Пока нет. Ты знаешь почему. Ты всегда знал почему, ты абсолютный… Ты *стена*. — мой кулак сильнее сжался в рубашке и я услышала, как собственный голос треснул посередине, и продолжила сквозь трещину. — Но мне нужно, чтобы ты знал: дверь настоящая. Ты всё время говоришь, что дверь настоящая, и она настоящая, и я та, кто держит её закрытой. Это меня убивает и я открываю её каждую полночь в песнях, и однажды я открою её стоя, при дневном свете, скажу всё вслух с видимым лицом и ты будешь таким самодовольным. Я это заслуживаю и это, это всё, что у меня есть сегодня.

Неподвижность взяла его — хорошая, та, которую я наблюдала у него в темноте: мальчик, принимающий доставку. Его рука поднялась и обхватила мой затылок, рот прижался

к линии роста волос и остался там, а песня продолжалась без нашего разрешения.

— Подписано, — прошептал он мне в волосы. — Подшито и держится тёплым. Без срока годности.

— Ты даже не будешь спорить?

— У меня восемь лет доказательств, что спорить с тобой — хобби для других мальчиков. — его ухмылка появилась у меня на лбу, я почувствовала, как это случилось. — Я лучше потанцую. Мы в этом лучше, чем в разговорах, хотя в танцах мы ужасны.

— *Мы такие друзья*, — прошептала я и смех вырвался из него в упор, и мой последовал за ним, мы стояли на его ботинках посреди пола и смеялись над шуткой, на которую у двоих живых людей были бумаги.

Звонок прошёл поверх последнего припева, как пожарная тревога на свадьбе.

Четыреста человек застонали одним организмом. Комитет шестого класса начал сматывать кабели, бумажные сердца качнулись в уходящем потоке, и вокруг нас зал растворился обратно в коридор, сумки, ботинки — обычный мир, собирающийся поверх последних двадцати минут, как погода над полем.

Нас никто не снимал. Это было чудо, которое Оливия подтвердила позже, качая головой, как женщина, описывающая НЛО: все камеры были на инциденте со столом, вся съёмка столовой начиналась и заканчивалась Бэйтсом и ста-

каном-микрофоном, а третий танец случился в единственной приватности, которую четыреста человек могут случайно предоставить, — приватности наблюдения за чем-то более громким.

Честер проводил нас на физику со сцепленными руками и не делал вид, что иначе. Коридор расступался вокруг этого факта так, как расступался всю зиму, а у дверей лаборатории 2 мы нашли расстановку на скамьях ровно такой, какой оставили: её сторона, его сторона, наша сторона и Бэйтс уже установлен на два места сзади с восстановленным галстуком и голосом, сниженным до шестидесяти процентов.

— Прежде чем кто-нибудь что-нибудь скажет, — выдавил он хрипло, держа один палец вверх. — У меня две вещи. Первое. Это были величайшие три фунта и одиннадцать минут моей жизни, горло в руинах, я достиг пика и буду переживать это в сорок. — его палец качнулся в сторону нас двоих, занимающих места, и голос полностью сорвался на следующей части. — Второе. Они танцевали. Открыто. Вы двое. А я смотрел на всё это с этой скамьи, как гордый, как старый друг на… — его предложение рухнуло, он прочистил горло, сильно моргнул в потолок и выдал остальное плоско и яростно. — Столько лет я смотрел, как он ищет тебя в комнатах. Однажды я произнесу речь на настоящем событии и она пойдёт ровно так же плохо, так что считайте это репетицией.

— Прибереги для отчёта в сентябре, — сказал Джейкоб,

занимая табурет, ровный, как ватерпас. — Которое теперь единственное событие, которое имеет значение. Розовое и серое, на графском мероприятии, под четырьмястами шляпами. — он один раз посмотрел между нами и сухой тон пришёл с чем-то под ним, впервые вынесенным открыто, что от Джейкоба было и панегириком, и букетом одновременно. — Не торопитесь возвращаться, оба. Некоторые вечеринки заслуживают полного вечера.

— Три секунды, Уолтер. — страница учебника Дэйвона перевернулась. — Некоторые числа никогда не меняются, а хорошим и не нужно.

ВСЁ ЕЩЁ О ТЕБЕ
Честер
14 февраля 2013 года

Сон был со звуковой дорожкой, а потом её не стало.

Одна минута — и столовая всё ещё вокруг нас, медленная песня играет, её ноги на моих ботинках, её лоб против моего, а в следующую — песня разорвалась посередине, будто кассету выдернули, и комната потемнела. Я проснулся с сердцем, вытворяющим что-то с моими рёбрами, что ощущалось не столько как пробуждение, сколько как то, что тебя застали.

Сначала жар. Потом простыни, скрученные вокруг ног, влажные в пояснице. Потом безошибочное давление против

живота, моё собственное тело, заявляющее о себе без всякого интереса к манерам. Я лежал неподвижно в темноте своей комнаты с открытыми глазами и дыханием, уже слишком быстрым, и я точно знал, что произошло и кто именно со мной это сделал, хотя она была вдали отсюда, спала и, вероятно, видела сон о чём-то с пианино.

Лидия.

Всегда Лидия.

Ещё до того, как у меня появились слова для того, что тело делает с мыслью, она была этой мыслью. С тех пор как живая изгородь, с тех пор как глубокий конец бассейна, с тех пор как любая дверь, в которой я когда-либо стоял, сканируя комнату в поисках одной головы светлых волос.

Мне было пятнадцать, и у меня была *религия с одним прихожанином и одной святой*, и святая понятия не имела — или делала вид, что не имела, — а прихожанин лежал в темноте с рукой, уже движущейся прежде, чем его мозг закончил подписывать приказ.

Мои пальцы нашли резинку пижамных штанов и остановились там. Не потому что я решал. Решение было принято годы назад, втайне, в душе, в узкие предрассветные часы, когда дом был тих и единственное, что могло меня слышать — радиатор. Я остановился, потому что всегда останавливался, потому что в этом была маленькая церемония, момент признания и признавать это в темноте было одновременно священно и грязно, и то и другое сразу, как всё, что было свя-

зано с ней.

Это она, — сказал я молча потолку. — *Это всегда она. Это была она во сне и это будет она сейчас, и это будет она каждый раз, пока я не умру или пока она не перестанет быть первым, что я ищу, а ни то, ни другое не случится в ближайшее время.*

Решение было принято. Моя рука скользнула вниз, под резинку и сомкнулась вокруг себя, первое прикосновение вырвало из меня низкий звук, который мне пришлось заглушить о собственную руку, потому что у моей матери был слух летучей мыши, когда дело касалось её единственного сына.

Я не торопился. Это было странно. В пятнадцать, один, в темноте, со сном, ещё тёплым за глазами, я двигался медленно. Нежно, даже. Мой большой палец провёл по нижней стороне так, что мои бёдра сами поднялись с матраса, и я позволил им. Ритм начался в темпе, совпадающем с моим дыханием, неторопливый, почти благоговейный, как я касался всего её, что мне когда-либо было позволено трогать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.